

[Polaris]



ЧЕРНОКНИЖНИК

Забывтая фантастическая проза XIX века

Том II

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCLXXII



Salamandra P.V.V.

ЧЕРНОКНИЖНИК

Забытая фантастическая
проза XIX века

Том II

Salamandra P.V.V.

Чернокнижник (Забытая фантастическая проза XIX века. Том II). Сост. и подг. текста М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2020. — 170 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCLXXII).

В сборник вошли фантастические произведения А. Емичева, В. Львова, Н. Тихорского, А. Тимофеева, Ф. Булгарина, В. Одоевского, а также анонимных и псевдонимных русских авторов первой половины XIX века. Большая часть рассказов и повестей сборника переиздается впервые.

© М. Fomenko, состав, подг. текста, 2020

© Salamandra P.V.V., оформление, 2020

ЧЕРНОКНИЖНИК

К. Ф.

ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА

Живши весьма долго в одном городе., имел я случай познакомиться с семейством графа Г***. Он был женат и имел двух дочерей. Конечно, могу я сказать без всякой лжи, что знакомство это оставило во мне самые приятные и самые грустные воспоминания. Как часто, забывая все светские удовольствия, ездил я летом в их загородный дом напиться свежим воздухом и приятной беседой! Жена графа была женщина лет 35, добрая, образованная, нежная мать и супруга, одним словом — достойная счастья. Дочери ее всегда меня прельщали. Старшая была совершенно портрет матери. Ей было 17 лет. Восхитительные черные глаза, в которых ясно отражалась благородная душа ее, всегда выражали бездну мыслей чистых, непорочных, как она сама. Брови, как бы нарисованные кистью искусного живописца, сгибались едва чувствительною дугою над прелестными глазами; небольшой прямой нос, маленький ротик, несколько выдавшийся подбородок — все это было в совершенной гармонии, нравилось, восхищало. Но это неземное лицо было покрыто какою-то безжизненностью. Щеки ее никогда не разгорались румянцем, но были покрыты легкою синевою; губы были едва приметного бледно-розового цвета. Все черты носили на себе отпечаток тихой, но ужасной меланхолии. Соединяя с самым пылким умом возвышеннейшие чувства, она привлекала к себе невольно. Глядя на нее, восхищаясь ею, нельзя было отогнать какой-то грустной, томительной мысли, какого-то чувства сострадания. Она, казалось, была минутным гостем среди людей, явлением небесным, долженствовавшим мелькнуть, удивить и исчезнуть в вечности. Разговоры ее были увлекательны, но не утешительны. Она и нравственно жила в каком-то невещественном мире, всегда окруженная поэтическими образами, которые рисовало ей роскошное ее воображение; она никогда почти не спускалась мыслями к обыкновенному: они всегда плавали в обители недоступной, божественной. Сколько ни старался я иногда, говоря с нею, дать направление веселое ее думам — никогда не мог этого достигнуть: она жила горестно, даже в самой счастии видела мрачную сторону. Чтение ее совершенно согласовалось с образом мыс-

лей. Вторая сестра, во всем похожая на отца, составляла разительную противоположность со старшей. Ее голубые глаза сияли радостью, щеки пылали живым огнем, улыбка никогда не покидала уст ее. Она была умна, но не глубоко-мысленна; ум ее не останавливался долго на одном предмете, но, подобно ей, перелетал беззаботно от высокого к обыкновенному. Ее все веселило; все в природе улыбалось ей; во всем видела она удовольствие. Но при всей несходности характеров, эти две сестры жили, как говорится, душа в душу. Они было неразлучны: их странно было видеть вместе — все в них было различно, и все сливалось в одно нераздельное целое, удивительное, необыкновенное.

Я был принят в доме как родной, и потому весьма часто беседовал с дочерьми тогда, когда ни матери, ни отца тут не было. Когда они выражали суждение свое о чем-нибудь, мне странно было видеть, как два существа, ничем несходные между собою, вместе с тем созданы, казалось, друг для друга.

Мать их, как я уже сказал, женщина не старая, страдала жестокою наследственною болезнью, которая должна была скоро унести ее в могилу. При начале моего знакомства не знал я этого, но потом, замечая, что она чахнет с каждым днем, я спросил их домового доктора о причине ее страдания. Он мне объявил, что мать ее также умерла в молодых годах, и что недуг ее принадлежит к числу переходящих из рода в род. Узнав это, я не мог без ужаса смотреть на несчастную, которая видимо угасала. Она оставляла двух дочерей без матери, на волю Провидения!

Через несколько времени получил я пригласительный билет на похороны супруги графа. Печальна была церемония; сердце раздиралось при виде гроба, который вмещал в себе мать!

Во время панихиды смотрел я пристально на обеих сестер: младшая рыдала; старшая же, неподвижно вперя взоры в безжизненное тело матери, стояла... неживая. Ни одна слезинка не выпала из очей ее. Ее бы можно было почесть жителем того света, если б изредка вырывавшиеся тяжелые вздохи, вздымая грудь ее, не напоминали о том,

что в этом по-видимому мертвом теле была жизнь полная, духовная.

Холодный пот обливал меня, когда я глядел на нее; волосы становились дыбом; я не смел подумать — но одна мысль, как змея, впилась в меня и никак не хотела покинуть моего ума. Мысль ужасная! Мне казалось, что семя болезни, томившее покойную мать и низведшее ее в могилу, осталось страшным наследством старшей дочери. Мне казалось, что неумолимая судьба наложила руку смерти на свою жертву, что печать разрушения тяготела уже всею своею силою на сем прелестном создании, достойном счастья более, нежели кто-либо. Тело графини предали земле. Я столь же часто посещал их после сего несчастного приключения. Тот же ласковый прием, которым меня удостаивали прежде, сохранился. Сначала все горевали, были неутешны. К счастью нашему, впечатления сердечные не остаются в нас навсегда во всей их силе: сперва исчезнет ужасное, потом... долго потом — томительное, а наконец останутся одни грустные воспоминания, которые иногда пробуждают в нас мучительное минувшее, но ненадолго, к счастью, да, к счастью. Итак, спустя около года по смерти графини, о ней думали очень много, но не всегда. Младшая сестра, любившая мать от всего сердца, очень много тосковала; но тоска эта не сделала впечатления на ее физические силы: она осталась тою же, какова была, красавицею, полною, живою. Но на старшую мне страшно было взглянуть. Не могли бледнеть, она, не теряя ничего из прелести своего лица, ужасно похудела; глаза ее впали; щеки, до тех пор полные, опустились... это был труп очаровательной девушки, труп ангела, если б ангелы были смертны. В это время познакомился в их доме молодой человек, служивший в военной службе, лет 26. В чертах его не было этой женоподобной красоты; он был муж в полном смысле сего слова. Лицо его выражало ум глубокий, а телодвижения — пылкие страсти. Не входя в подробности его посещений и обращения с двумя сестрами, скажу только, что он страстно влюбился в старшую. Она также не была к нему равнодушною. Он попросил у отца руки ее. Не видя никаких затруднений и зная молодого че-

ловека с хорошей стороны, граф изъявил свое согласие — и день свадьбы назначен. Я смотрел на невесту, когда она стояла пред алтарем, как непорочная жертва; в этот раз она была грустнее обыкновенного... Венчальный обряд прозвучал в ушах моих вечною памятью. Неотвязчивая мысль о скорой ее кончине преследовала меня всегда — и , видя венец над ее головою, я читал на нем: «Святой Боже, святой крепкий...»

Свадебный обряд кончился. Все гости, в том числе и я, поехали к ним в дом; пили за их здоровье, желали им счастья... я в душе желал долголетия. Новобрачной сделалось дурно; ее увели в другую комнату, а мы все разъехались. На следующий день, как короткий знакомый, являюсь к ним, чтобы осведомиться о здоровье. Спрашиваю слугу: у себя ли? Он отвечает мне затрудненным голосом утвердительно. Снимаю шинель, вхожу в залу — красавица лежит на столе мертвая. Судите о положении мужа, сестры, отца...

Алексей Емичев

ЗАКЛЯТЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука;
Пройдет любовь, настанет скука,
Красавица полюбит вновь.

Пушкин

— Тебя не будет со мною, моя милая; далеко понесешь ты обворожительные взоры, сладостные приветы. В последний раз ты целуешь глаза мои, чтоб остановить горячие слезы, но они всегда польются из души моей. Прощай! помни, что прощальный поцелуй будет свеж на устах наших и никогда не исчезнет; он выше всех клятв, ужаснее смертного поцелуя: его приемлет живая, исполненная мук душа, как приемлет сжигаемый мученик отрадную каплю воды. Ты клялась мне там, где безмолвствует религия и бледнеет человеческая сила. Этот поцелуй зашелестит на устах твоих, когда их коснутся чуждые лобзания, когда сердце твое омрачится изменою. Прощай.

Александр упал на грудь Надежды. Поцелуи слились с новыми клятвами. Экипаж подали. Еще облобызал он руку послушной девушки и остался один.

Как грустно разлученному! Он думает только о незабвенной. Она будто скрылась в душе его и говорит с ним тайно, безголосно, сильно, убедительно. Александр полюбил Надежду пламенно, с отвержением всего, что называется рассудком, с пожертвованием выгод службы, с потерей счастья, с убийством душевного спокойствия... полюбил, сам того не зная. Да когда ж любовь вкрадывалась иначе? Покорность характера, ласковость и ум, все это влилось в горячее сердце юноши, осуществило идеал его и проявило для него в Надежде божество, которому он поклонялся со всем фанатизмом Востока. Невыразимо радовался он, когда Надежда встречала его ласковым приветом, как приветствует заря ясное

утро. Счастлива любовь тихая, веселая, как вольная птичка; но такая любовь только дружба. Душевная, сильная любовь — дышит ревностью, и между наслаждений мелькает мука, как терн между малинником. Видали ли вы на древесных ветвях кругообразную сеть, чудно истканную? Ее колеблет малейший ветерок, готовый изорвать тонкие нити; но в середине есть точка, как первообраз зародыша: это паук, насекомый разбойник, окинувшийся пеленою. Он ждет, не пролетит ли мушка, не зацепится ли — и высасывает кровь из жертвы. Такова и ты, любовь безотрадная! Угнездись в сердце, не даешь ни сна, ни покоя и сторожишь каждый отдых души измученной. Такова была любовь Александра, подстрекаемая ревностью, ибо ревность есть термометр любви. Чего не придумывало мрачное подозрение! Малейшая мысль дробилась на тысячу вероятий, облакавших воображаемую измену в одежду истины. Тогда он клялся оставить неверную; но образ ее, со всеми признаками невинности, носился вокруг тоскующего сердца и вновь водворял любовь и тишину кратковременную. Подобные борения еще сильнее укоренили в груди его крепкую привязанность. Он не мог пробыть часа без Надежды, и, разлучаясь на минуту, оставлял с нею полдуши своей. Каково же было для пламенного чувства разлучиться надолго, быть может, навсегда! Разлюбил он общество, предался скуке; но гордою душою не искал соучастия, не алкал кому бы поверить свои страдания. Он твердо переносил горькую участь, услаждаясь мечтами о прошлой радости. Трудно забыть любовь, трудно забыть любимую женщину, водворившую в груди пленительные ощущения. Я люблю. Душа моя изобразила свой образ в другой душе; они поняли одна другую, соединились одномыслием, одножеланием, живут одною жизнью. Чудесная жизнь! она есть отблеск вечного наслаждения, священный огонь на жертвеннике земного блаженства. Природа украсила женщину всеми дарами, чтоб доставить ей господство над мужчиною, чтоб в ней осчастливить его. Но взамен того, кто примет живейшее участие в скорбях его? Кто вызовет из груди его печальную тайну, чтоб усладить слезами сострадания? Кто с самоотвержением бросится ис-

кать ему утешения?.. Это она, любящая женщина, родная по сердцу, ангел по нежной, кроткой душе.

Между мужчинами и женщинами есть давний, неразрешенный спор: кто из них долее любит? Обе стороны кричат: мы, мы! и обе бывают часто неправы. Страсть возгорается прежде в мужчине и потом от него, как электрическая искра от стекла к металлу, сообщается женщине, после долгого ходатайства. Тогда уже возникает взаимная любовь; но женщина не оставляет кокетства, прирожденного ей, а мужчина жертвует любви даже дружбою; и вот почему мужчины правы в своей сильнейшей ревности. Если женщина подарила только чувствами, не оставила в объятиях его ни одного пожертвования, он долго, вечно будет любить ее. Какие бы обуревания ни тревожили его, но в памятном сердце всегда будет приют воспоминаний; и в то время, когда в груди двигаются волны бурных помыслов, это святое, заповедное хранилище останется незыблемым, невредимым, как утес среди моря. Между тем, женщина, не подарив его ни одною драгоценностью, увлекаясь живою картиною забав и веселья, обставленная вздыхающими сердцами, забывает прежнего обожателя, помня в нем одного из многих, как иногда она вспоминает о старой прическе, с улыбкою приговаривая: «Ведь была же мода!» Но если могучий трепет влюбленного сердца ринул ее на жертвование, если всколыханная страстью душа потеряла рассудок и упиалась удушливым пламенем: торжествующий мужчина, низложив сильного, хитрого неприятеля, ласкает его только за прежнюю храбрость, посмеиваясь падшему мужеству. Он невольно теряет пламенную любовь к той, которая сгорела от дыхания его любви. Итак, любовь женщины чистая владычествует над мужчиною; любовь преступная унижает ее до рабства.

Ни одно оскорбительное воспоминание не давило груди Надежды, ни одна мысль не унижала ее в сердце Александра. Живая, пламенная, мечтательная, она готова была потворствовать каждому чувству, но дружба Александра спасала ее от проступков. Наконец эта дружба превратилась в сильнейшую любовь. Она полюбила его, как первенца своей души, как друга, лелеявшего ее юность и неопытность. Не имея средств овладеть ею пред алтарем Божиим, преданный эгоизму безрассудной страсти, ожидая всего от времени, он вызвал из души ее все возможные клятвы на ужасном месте, запечатленном, как говорило предание, колдовством и нечистою силою. В самом деле, Чертово Городище, нагроможденное огромными развалинами над самою пучиною сердитой реки, удаленное от жила*, страшило путника; и не раз там молния сжигала остатки деревьев и траву, а гром разбивал вековые камни. Залогом вечной любви был обоюдный жаркий поцелуй, которому измена должна запечатлеться гибелью.

Долго юное сердце Надежды страдало всеми недугами разлученной любви. К счастью, она уехала в такой город, где ее красота сияла звездой утренней; где ее черные очи проникали в душу, как жар весеннего солнца. Неохотно, по убеждению родителей, вступила она в общество, сохраняя грусть души и сумрак на прекрасном лице. Явившаяся толпа обожателей издали следила за печальною, и не смела нарушить ее задумчивости; но ее таинственность и пламень очей были загадкою, которую юноши стремились разгадать. Так протекло несколько недель. Умирная временем, горячая страсть охлаждалась, воспоминания становились тусклее, отдаленнее, печальная жизнь бременила живость характера, и сердце Надежды готово было отвернуться на ласковый призыв новой любви.

Молодой Пальмин отличался приятным характером и образованностью. Его прекрасная наружность, украшенная еще более ловкостью, не раз пленяла красавиц, но он оставался холоден до роковой минуты. Красота и мечтатель-

* Жилых мест, жилья.

ная задумчивость приезжей красавицы привлекли его. Он ринулся к ней со всем пылом жарко дышащего сердца и овладел ею. Объятая новою страстью, Надежда мыкалась с одного бала на другой, преследуемая Пальминым, и давно забыла о том, кто покоил ее в объятиях дружбы и любви. Страшные клятвы она надеялась замолить в церкви. Письма от прежних подруг, как неинтересные, она сжигала. Одно только, в котором описывалось отчуждение от мира и отчаяние Александра, поразило ее; она всплакала над ним, пробудив в душе укоризны, но явился Пальмин — и все забыто.

Время бежало, как преступник, скрывающийся от стражи; напрасно воспоминание старалось остановить его: беглец умчался и скрылся в невозвратном прошедшем. Время бежало, а Надежда не примечала, как много месяцев миновало ее клятвопреступлению. В семнадцатой весне она расцветала нежно и пышно, как оранжерейный цветок. Родители видели, что пора красную девицу поручить на возраст доброму молодцу, пора помыслы затейной юности передать в науку возмужалости. Появились сваты: есть купцы, есть и товар, и запродали девицу доброму молодцу, заручили Надежду за руки Пальмина.

В день обручения Надежда, веселая и разубранная, сидела подле Пальмина. Только что надетое на пальчик обручальное кольцо подслушивало живое биение жилок. Настал первый поцелуй. Уже губы счастливого обрученного стремились спаяться с устами прелестной, как глаза у ней помутились, она ахнула и пала со стула, восклицая: «Не жги меня, не жги меня!» Бледную, бесчувственную унесли ее в свою комнату. В недоумении в ужасе все присутствовавшие не знали, что подумать, что толковать. На другой день Надежда облегчила болезнь слезами в три ручья. Спрашивали: не хочет ли она видеть Пальмина? — «Ах, нет, нет, — отвечала она, — попросите его, чтоб он не сердился, я не думала, что со мною это будет». Напрасно мать пыталась: что с нею было? рыдания заменяли ответ. Целую неделю пролежала она в постели, страдая горячкою, и в минуты сильного жара по-прежнему восклицала: «Не жги меня, не жги ме-

ня!» Ей грезилось какое-то привидение, готовое истребить ее пламенем, как зной палит в пустынном поле иссохшую траву. В бреду она то обещала исполнить страшные клятвы, то кричала: «Прости меня, а забыла тебя, я не люблю тебя! ах! не жги меня ради клятв моих, не жги меня». Наконец она начала выздоравливать. Глаза были дики и мутны. Из резвой, прихотливой она превратилась в скромную, исполненную таинственности и томительных дум. Все сидела задумавшись, не участвовала в весельях, только фантазировала на фортепьяно. В один вечер она задумчиво играла, а Пальмин смотрелся в ее прекрасные очи. Различные звуки без ровности, без гармонии толпились и перебивали один другого, не выражая слушающему ни одной мысли смятенной пианистки. Вдруг буря замолкла, перебежала проба аккомпанимана, и Надежда пропела романс:

Прости! я еду в дальний путь,
Надежд покинув обольщенье:
Нам мир другой соединенье.
Меня забудь, меня забудь!
Но если пламенная грудь
Любви волнение вновь узнает;
Как сердце тайну разгадает, —
Меня забудь, меня забудь!
Но если я когда-нибудь,
Питая к свету хлад могильный,
Тебя забуду — Бог Всесильный!
Меня забудь, меня забудь.

— Так! Бог забыл меня! я обманула его! я клятвопреступница! — воскликнула Надежда при последнем куплете и поникла челом на фортепьяно. Рыдания задушали ее. Встретившийся юноша хлопотал, чтоб успокоить ее, убедить, рассеять. «Ах, Пальмин! не тронь меня, не требуй поцелуя невесты, рада Бога, не требуй! он жгуч, как огонь; язвительен, как яд!... Боже! как он ужасен!» Голос ее слабел, и она опять впала в истерику и горячку. Тщетно призывали лекарей и даже волшебниц! Тайная немочь, глубоко сокрытая

в сердце, как звезда за мутным облаком, не давалась зоркому проницанию. Пальмин, любя пламенно, сам впадал в болезнь, даруемую тоскою и мучением. Проводя дни и ночи у постели страдальцы, он не смел приласкать ее, не смел излить потока нежности и живейшего участия, видя, как она страшится их, как сама, желая ринуться на грудь его, с ужасом отпрядывала, как будто между ими блуждало привидение. В один из этих томительных вечеров она взяла его за руку и спросила: «Скажи, Пальмин, тебя не ужасают мои муки, не страшит моя таинственность? ты меня любишь выше призраков, более всего на свете?» Воспламененный юноша сильно прижал ее руку к груди своей и торжественно воскликнул: «Бог видит, что ты для меня дороже небесного блаженства!» Она зорко поглядела в глаза его и медленно проговорила: «Я твоя! веди меня завтра к венцу, только, ради самого Спасителя, первый поцелуй на брачном ложе...»

Назавтра, после вечереи, скромный поезд подъехал к церкви. Радостный жених встретил невесту и ввел в храм. Бледна, измучена, трепетна стояла она под венцом. После совершения брака, тщетно священник требовал от новобрачных взаимного поцелуя. Все дивились и перешептывались. Народ любит пересуды. За молебном Надежда, рыдая, молилась, как преступница, готовая принять последнее слово жизни. Возвратились в дом тестя. После обычных обрядов, молодых ввели в опочивальню, раскланялись, и задвижка возвестила, что Надежда со вечера девушка, со полуночи молодуха, ко белу свету хозяйюшка. Оставшиеся гости допили последний заздравный бокал и разошлись. Вдруг в полночь по дому распространился дым и плотяной запах. Все пробудились, бросились искать пожара, приблизились к опочивальне молодых, как дверь с грохотом сорвалась с петель, мгновенно всех обдало дымом, и вбежал Пальмин, крича: «Воды, воды! она горит». С ужасом кинулись к горячей сильным пламенем кровати, в эту минуту обрушившейся, и схватили бесчувственную новобрачную, заваленную пылающим занавесом и постелью. Лицо Надежды совершенно обгорело; багровое, стянутое, оно истрескалось, глаза лопнули, губы превратились в две сухие, скругленные жи-

лы. Обнаженная, покрытая обрывками платья, недавно прелестная, новобрачная явилась искаженным трупом. Пальмин, потеряв рассудок, кричал: «Она сама не велела гасить свечу, она нарочно сожгла себя!» — и падал на тело погибшей.

Итак, последняя земная молитва, последнее утешение религии не сопутствовало несчастной в могилу! Но ее пламенная, не омраченная ни одним произвольным смертным грехом душа, как голубица, вознеслась в ковчег выспренных, принеся с земли невинность свою и чистоту.

Через четыре дня после успокоения в недрах земли усопшей страдальцы, получено на ее имя с черною печатью письмо: «Что ты сделала, Надежда, с Александром! День отправления этого письма есть день смерти замученного, некогда возлюбленного твоего друга. Скажи с горестью и слезами: мир душе твоей, несчастный мученик! Он умер ужасно, без утешения веры и дружбы. В полночь того дня у нас свирепствовала сильнейшая гроза, так что на полях градом выбило весь хлеб и с многих домов снесло крыши. Поутру кто-то, проходя мимо Чертова Городища, где ты давала Александру страшные клятвы, увидел лежащего человека, побежал и нашел в нем Александра, сраженного молнией. Лицо его было сожжено и обезображено; самый камень, на который низринулся он, превращен в щебень, только сохранилась от него полоса с надписью: “Умру, проклиная ее”. Ты спросишь: зачем в такую ночь забрел он в страшное место? С тех пор, как у нас появилась весть о твоём обручении, Александр проводил там дни и ночи и начертил оную надпись. Залейся слезами, Надежда, и с молитвою скажи: “Мир душе твоей, несчастный мученик”».

Но им обим не было мира на сей земле, где счастье — сон, беда — не сон.

Вятка

Владимир Львов

ПРЕДАНИЕ

Мы не Греки и не Римляне,
Мы не верим их преданиям;
.....
.
Нам другие сказки надобны,
Мы другие сказки слышали
От своих покойных мамушек.

Карамзин.

1

— Гей, дядя! где проехать на старую мельницу?

— Ась, барин, куда?

— На старую мельницу.

— Да евона, с большой дороги направо, — отвечает нехотя крестьянин, сминая одной рукой шляпу, а другой почесывая затылок. Ему и верить не хочется, чтоб был такой смельчак, который в темную осеннюю ночь хотел бы проехать или пройти на *старую мельницу*. Мужичку совестно, что он указал дорогу к такому месту.

Совестно! отчего бы, кажись, совеститься? да уж эта совесть под серым кафтаном! необразованная, невоспитанная — кричит себе да и только! но неволе выслушаешь ее. То ли дело под английским сукном или под французским шали: умасленная, углаженная, расшаркается и ретируется при первой возможности.

Что за причина, однако ж, что старая мельница так страшна? — «Там нечисто», — говорили старики; «нечисто», — повторяли дети их, и седые внуки до сих пор боятся старой мельницы, оттого что там *нечисто*.

Струясь по зеленым лугам, иногда пробираясь с журчаньем под нависшими кустами и выказываясь опять между полей, Истра соединяет воды с Москвою и вместе с нею несет в шумную столицу. На этой-то скромной речке в старину стояла мельница. Надобно бы, для истории, вернее определить время, когда это было, но, прошу покорно, как

узнать? Дело, о котором хочу говорить, было ни в моровой, ни в ополчённый, ни в холерный год, ни в предпоследнюю, ни в последнюю некрутчину, ни даже в миллюцию: наши православные передают события только синхронистически. Быть так! просто в старину, тихая Истра, встречая преграду в Стрелинских дачах, разливалась на несколько сажень и, с большей пользой, нежели теперь, пробегала с шумом по колесам мельницы, которую держал в картоме* старик Герасим Щербаков.

Щербаков этот и хозяйшка его Татьяна по наружности могли занять место на первом плане какой-нибудь картины Теньера, ван Остада или другого живописца фламандской школы; а по внутренним качествам заслуживали они уважение всего околodka; особливо Герасим, имея тройное право на доверенность соседей: как старик, честный человек, а пуще всего как мельник; он слыл знахарем, которого слово считалось приговором, совет законом. И старые и малые приходили на мельницу просить решения на трудные вопросы касательно домашних свар, свадеб, урожая и мало ли еще чего. Говоруњи-старушки, который на всем белом свете одинаковы, толковали, правда, что парни имели другие причины посещать мельника, что не одно досужество его манило их: с ним вместе жила, видите, дочь его. Да и то сказать, кому не хотелось бы взглянуть на красавицу Машу? ведь ретивое у всякого бьется за пазухой, а глаз только у слепых нет. У Маши было несколько смуглое от загара лицо, на щечках завсегда играл румянец, ряд зубов словно жемчуг, едва видный за полуоткрытыми губками, а глазки

Только взглянь на них,
Так с сердцем распростишь.

Одним словом, все дышало в ней такую прелестью, что ни в сказках сказать, ни пером написать. Как принарядится, бывало, наденет повязку да вплетет ленту в косу, так и городские заглядывались.

* Картома (кортома) — аренда, оброчное содержание.

Работящая жена, хорошенькая дочка, славная мельница, работы не оберешься, добрая слава — чего бы, кажется, еще! И точно, мельниково семейство блаженствовало в полном смысле слова.

Но — сколько раз уже была повторена эта истина, сколько раз подтверждалась она новыми доказательствами: что счастье непостоянно, и враг людей, враг всего хорошего, готов всегда подлить желчь в фиал жизни, наполненный нектаром. Это высоким слогом, а попросту:

Горе ходит не по лесу, а по людям.

2

Перейдя через теперешний мост, а тогдашнюю плотину, дорога поднимается в отлогую гору, и верстах в полутора от Истры было, и теперь есть, сельцо Стрелино. Отчего деревня названа Стрелиным, а не иначе, предоставляю разбирать кому угодно: я пишу только то, о чем мне рассказывали, а об этом и слова не было. Займемся теперь помещиком, тогдашним, разумеется, жившим в маленьком домике, построенном на возвышении, окруженном кустами смородины и крыжовника и напоминающем собою всем известную архитектуру избушки на курьих ножках. Тогда в деревнях не строили у нас огромных палат, и жилище барона Фридриха фон Граузенгарда было не хуже домов многих соседей.

Потомок каких-нибудь славных рыцарей германских, Фридрих, обращенный в Федора, остался после отца, гордившегося еще предками, единственным наследником единственного оставшегося имения, Стрелина. Предпочтя мирное житие неверной славе и лаврам, обруселый немец занялся хозяйством; древний меч, которым клялся, хвастал, а может быть, и рубил прадед его, обратил он в садовый нож; шлем переименовал в корзину для грибов и, разделяя время между трудами и забавой, оглашал часто окрестные леса звуком

охотничьего рога. Эта одна страсть только выказывала в нем высокое происхождение. Если бы мне довелось составлять герб барона Граузенгарда, то, не углубляясь ни в какие темные правила геральдики, изобразил бы в зеленом поле старинное родословное дерево, разбитое несколько раз бурями, обремененное однако ж плодами, пригнувшимися ветви его к земле, и подписал бы:

Sic transit gloria mundi!...

Нельзя же без латыни.

Часто, возвращаясь с поля, с зайцами в тороках, с собаками на своре и в зубах с трубкою, заезжал молодой помещик к Герасиму. Он любил простой разговор его, рассказы о давно минувшем, любил слушать рассуждения, основанные на опыте, а не на вычисленных истинах. Старик говорил гладко, на крестьянский лад, с присказками да прибаутками. Особенно лилась речь его рекой, когда шло слово о быте крестьянском: тут была она неисчерпаема! Он рассказывал, как в старину господа признавали услугу рабов своих, как не гнушались ими и как даже некоторые из баричей выбирали себе в сожительницы *хрестьянок*. Барон, бывало, поддакивал и говорил, что это дело, что для счастья семейного нужна жена добрая, а не высокого рода; что в дому не школу заводить под руководством жены, и проч. и проч. и проч., и при этом поглядывал, бывало, на мельникову дочку. Что думал он тогда — об этом молчит предание. Знаю только, что при таких рассуждениях у Маши всегда перерывалась нитка в пальцах и веретено падало на пол; она долго достает его, бывало, под лавкой, и верно, оттого щеки ее становились краснее и глаза горели, как звездочки. Старуха пристально слушала и зевала и при рассказах мужа, и при рассуждениях барона. Солнце давно закатится, бывало, за горку и последний луч перестанет уж сверкать на кресте приходской церкви Всемилоственного Спаса, когда барон набьет снова трубку и шажком на пегом коне своем отправляется в скромное жилище.

Любовь, говорят, выдумана давно-давно. Может быть, не так называли ее, а любили все так же, а может быть, и лучше! сколько бед бывало от этой любви во все времена и до сих пор бывает, а любить все не перестают! видно, сладка она!

Случалось ли вам читать книжку печатную, под названием: *Не любо — не слушай, а лгать не мешай?* (говорят, будто она переведена с немецкого, да и похоже на то: русскому этого не выдумать, где нам!)* Так в этой книге сказано, что один человек, т. е. один немец, посадил боб, который так скоро вырос, что этот немец через несколько часов влез по нему на луну! Любовь — ни дать, ни взять этот боб: поднимется так скоро, что как раз вскарабкаешься в седьмое небо, да еще она так густа и так широко раскидывает ветви, что все застелет собою: из-за нее ничего не видеть.

Добрый барин с первого раза приглянулся Маше и скоро наяву и во сне видела она только его: не взмились ни посылки, ни хороводы! Все несбыточное исчезло из глаз, все казалось возможным!

Пришла осень. Пожелтели, слетели листья с деревьев — слетел и румянец со щек машинных; вместе с первым снегом упала и тоска-злодейка на сердце ее. Барон уехал в Москву и не простился с мельниковой. Иногда, под веселый час, когда все бывало тихо вокруг нее, когда сидела она в светелке одна с своей думой, приходило ей на мысль, что ему, может быть, тяжело было проститься с ней; может быть, пожалел он и ее девичьих слез; можем быть, скоро возвратится он из Москвы... из Москвы! «а в Москве-то что красавиц и лучше и ражее** и наряднее меня!» Тут закрадывалось чувство, которого она и назвать не умела: это ревность, и бед-

* Под этим заглавием в 1791 г. был издан вольный перевод книги о бароне Мюнхгаузене, выполненный Н. П. Осиповым.

** C'est une expression appartenante au district de Kline, en propre (Прим. авт.) — «выражение, присущее области Клины».

ная Маша опять начинала плакать, — она таяла, как свеча воска ярого. Долга показалась ей зима: шестнадцать лет жизни ее прошли скорее, чем эта несносная зима.

Наконец открылись июля, прилетели жаворонки, уж касатки завели гнездышко под мельничной крышей — все его нет, как нет! — Не спится Маше: поднимается раньше раннего солнышка и пойдет бродить по берегу Истры. Журчание реки сливалось часто с протяжной песенкой ее. Давно закатится красное, когда воротится она, бывало, домой. Чего-чего ни пытали и отец и мать: и на воду нашептывали старухи, и с уголька умывали, и заговаривали — ничто не помогало. Старик видел, в чем дело: и приказывал, и упрашивал, и плакал, и сердился — ничто не шло впрок.

Около семика разнеслась весть, что барин скоро приедет в деревню и с барыней — молодой женой своей.

4

— Вот она! сидит на камне-то! — говорил молодой парень, указывая работнику что-то похожее более на безмолвного жителя кладбища, нежели на живое существо.

Ветер пересыпал длинные волосы, раскинутые по плечам; бледное, бесцветное лицо, подпертое рукою, казалось мертвым. Глаза бедняжки, неподвижно устремленные на большую дорогу, сверкали жизнью нечеловеческой. Она то вдруг вскакивала, то опять садилась на камень: движения ее были скоры, отрывисты, неправильны.

Входя на работу, поселяне обходили кладбище, не смели трогать колос возле погоста. Казалось, смерть в виде женщины царствовала тут и мертвила все окружающее.

В самый Петров день, около обеда, послышался колокольчик; ближе, ближе звенел он, заливался по проселку; пыль столбом поднялась близехонько от колес коляски, несшейся во весь опор на лихой четверке прямо к Стрелнну.

На кладбище раздался ужасный, неистовый крик, и безумная быстрее мысли помчалась к Истре. Долго еще то

появлялись, то пропадали, рушились постепенно круги на гладкой поверхности Истры.

Не стало Маши!



С тех пор всякую ночь выходят русалки. Одна из них смуглая, черноглазая, точно Маша-утопленница. Они останавливают прохожего, смеются, щекотят его; они все хотят узнать барона Фридриха фон Граузенгарда.

Так гласит предание.

А. К.-Ъ

ТАИНСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ

Повесть

По дороге от В-а к О-е стоит в степи трактир, — крытая камышом изба с почерневшею от дыма и дырявою трубою. Хата эта, несколько больше обыкновенных в Новороссийском краю, разделена на две половины, из которых одна как бы назначалась для лучших проезжающих. При ней находятся существенные выгоды: обложенный белым камнем круглый колодезь, из которого, по чрезвычайной глубине его, таскают по веревкам в кожаных ведрах грязную воду. Кругом на двадцать верст не видно ни хуторка, ни деревеньки, ни одного деревца, ни одного кустарника: только стелется необозримая, гладкая равнина, взволнованная белыми, бархато-серебристыми кистями ковыля, сливаясь синею полосой с горизонтом. Ветер свободно катается по этой пушистой траве, которой ни одно почти животное не ест — и для которой нет столько ног, чтоб ее можно было здесь вытоптать или измять.

Глядя на эту широту, на этот раздол природы, воображение ваше кипит мечтами, и что-то особенное, чего нельзя высказать, увлекает вас в пустынность, безбрежность степей, по которым и теперь еще проносятся иногда остатки диких табунов, рисуясь на темном небосклоне летучими толпами. Так и хочется убежать в чистое поле, потонуть в безвестной глуши его, забыть жизнь с ее заботами, суетами, отношениями... Тут памятны еще предания безоблачной воли, не забыты песни степей и козацкой славы.

Налево от трактира, в некотором отдалении, врыт в землю почерневший деревянный крест. На нем видны следы отдыхающих птиц: ворон часто тут обращает хриплый голос свой к непогоде. На одной из могил, покрывающих эти равнины, стоит высеченная из здешнего гранита так называемая баба, изображение, совершенно сходное с кариатидами гробниц и храмов Древнего Египта. Удивительно! Кажется, одна рука тесала и статуи Мемнона и грубые изваяния степей новороссийских. По правой стороне дороги белеются высунувшиеся известковые камни; на них взбегают планшевый потатуйчик*, распускает пушистый гребешок свой

* Т. е. кремowego, телесного цвета удов.

и кричит свое однозвучное: «у-ду, ду, ду»; зеленые дятлы с красными крылышками, населяющие эти норы и расселины, кружатся на высоте в великом множестве, и среди их урчания раздается по временам вестовой голос передового журавля.

Этой дорогой случилось ехать уланскому офицеру; пыль столбом бежала за его повозкой; денщик, присвистывая, живо погонял тройку татарских вороных. На дворе вечерело. Колокольчик, привешенный под дугою, звенел не так резко: широкая туча, застилая весь южный небосклон, надвигалась, как черная черкесская шапка. Ветр пахнул сильнее в лицо путешественников; послышался запах дождя, и резкие крупные капли начали падать. Трактир был уже виден.

— Заворачивай хоть сюда, — сказал со вздохом молодой улан, — делать нечего!

Но сумею ли я передать эту повесть моим читателям (если они будут) так, как мне пересказала ее одна здешняя дама. Живши на даче своей у берега Мертвовода, речки, лениво тянущейся через В-н и без шума впадающей в Буг, она, моя повествовательница, сама слышала эту *историю* из первых уст, что и придавало ей возможное вероятие.

Знакомке моей было уже лет за сорок. Черты лица ее, пленявшие смолоду красотою, сохранили еще убедительность. Она вовсе не знала искусства украшать свой разговор; говорила просто, увлекательно; повторения ее были не скучны; описание мелочей подробно и занимательно; чудесное у нее точно было чудесное и увлекало в мир очарованный. Жаль, что я не могу передать ее рассказа, как сам от нее слышал.

Офицер встал с телеги; ветер хлопал длинным воротником серой его шинели, подпоясанной старым шарфом. Остановясь у дверей и подпираясь саблей, он отдал приказ денщику: припрятать *где-нибудь* лошадей, хорошенько присмотреть, да без спроса не поить. Что-то непонятное для него удерживало его на пороге корчмы. В сенях хотел он повернуть направо, но нашел дверь запертою и так вошел туда, где слышался шум, налево в дверь. Между тем, ливень уже нахлынул. Куры, собравшись в кучку, жались у изломан-

ной телеги, под стенку брошенной; воробьи прятались в стрехе. Хозяин, Русский, принял нашего приезжего весьма ласково, уверяя, что все чумаки* пойдут спать к возам, а в хате останется только он, да жена, да детишки, да так еще человек пяток, — не больше.

При входе офицера те из приезжих, которые были поучтивее, скинули шапки, другие же, не допив рюмок и закупив люльки, т. е. трубки, вышли вон.

Запачканные дети сидели на высокой печи, держа в руке по кочну кукурузы и, разговаривая между собой шепотом, указывали пальцами на новоприезжего, каких, видно, редко доставалось им видеть. Два жида, застигнутые здесь субботой, кланялись со всех сторон; но улан, привыкши в Польше ко всем жидовским вежливостям, нисколько не обращал на них внимания.

Офицер, занявши первое место за длинным сосновым столом, предчувствовал всю неприятность ночлега; на дворе ж, осенью, не под крышей, спать было неловко. Перед ним лежала пара его пистолетов и пенковая трубка с витым чубуком. Между тем, от тучи, налегшей как тоска, становилось в избе душно. Оглядывая от нечего делать свою квартиру, он заметил в углу, на полке, две фаянсовые чашки с большими, черной краскою напачканными розами и приклеенными сургучом ушками, и чайник с отбитым до половины носком.

— Хозяин! — закричал офицер, — уж не пьешь ли ты когда чаю, что эта у тебя за сбруя?

— Как же, батюшка, ваше благородие или ваше высокоблагородие, мы держим все эдаковское про вашу честь, да беда что...

Тут хозяин принялся вычислять, что ему стоит держать чай и сахар в таком плохом месте; и когда по начислению дошел до штофика ординарной, то офицер, поблагодаря за чай, просил его, если умеет, приготовить ему чашку пунша.

* Малороссийские извозчики на волах, промышленяющие солью и рыбой (Прим. авт.).

— Сейчас! — слышен голос был уже за дверьми.

Свеча зажжена серником; все семейство озаботилось приготовлением заказанного пунша. В это время один из жидов, кланяясь опять господину офицеру, просил позволения окончить шабас. Улан, разгладив усы, отвечал басом:

— За чем дело стало? Ну, — подымай!

По обычаю отцов своих, евреи начали готовиться к молитве; они надели сперва шапки, для чего особенно просили позволения, покрылись белыми шерстяными ризами с тремя черными по краям каймами и бахромой, потом обвили по локоть обнаженные руки узенькими ремнями; прикрепили ко лбу тфилим, род маленького, четвероугольного ковчежца с выгиснутою на передней стороне буквою «шин», начальною великого имени Шадой. В этом ковчежце заключаются тоненькие пергаментные свиточки, очень четко и красиво исписанные заповедями и молитвами. Сперва два сына Израиля тихо кланялись, оборотясь лицом к стене; потом началось глухо, частое бормотанье, — чтение по книжкам; затем, усиливая голоса громче и громче, они подняли такой крик, что всех в избе заглушили; дуо это слилось, однако ж, скоро в дикие, незнакомые, но довольно стройные звуки, приятные даже для непривычного уха. Переходы были неожиданны; понижения и возвышения тонов быстры и изумительны; клики разнообразны: то слышались стоны, то вопли, то завывания, подобные ветру пустынному; иногда пение и чтение совсем прекращались, и вдруг, подобно грому, начинались снова... Дождь и буря, между тем, выли на дворе. Это заняло молодого воина. Устремив задумчивое внимание на еврейскую вечерню, он не замечал нетерпения других присутствовавших, которые, обратившись к нему с раскрытыми ртами, ждали, что он непременно, вскоча с лавки, начнет унимать вязаным чубуком иудейскую набожность. На этот раз они ошиблись.

Скинувши ризы, евреи налили на стол несколько водки; зажгли ее, и, когда алкоголь сгорел, остатком помазали глаза, чем шабас их и кончился.

В это время поспел и пунш, который, хотя и не отвечал своему названию, но сошел с рук. Выкуря трубку, офицер на-

чал зевать и наконец спросил трактирщика: зачем все теснятся в этой половине, когда есть другая?

— Разве ты в ней кладешь свои пожитки, что ли?

— Ах, нет, батюшка, ваше высокоблагородие, там пусто-пустехонько, чисто, хорошо, да жить-то не приходится, — видно, грех наших ради.

— Эка народец! А что, небось, затынешь песню после этого о чертях? Давай-ка, брат, мы с ними сладим.

— Нет, сударик, не туда идет.

— Пойдет! Да, однако, позабавь меня, пока еще не так поздно, — я люблю слушать иногда сказки.

Хозяин сел, по приказу, на скамейке, — и начал со вздохом:

— Тому шесть лет, как случилось проходить здесь двум цеховым из Питера, с Гороховой улицы. Немцы они были, что ли, прах их знает! Это было в Спасов день. Да у меня и пачпорт одного окаянного остался. Достань-ка, жена!

— Не нужно! — прервал офицер.

— Как бишь? — Тут бородатый повествователь начал чесать голову, морщиться и, по-видимому, не хотел рассказывать. — Да, ну, вот видите ли, один из тех бесов был ремеслом цирюльник; переночевавши там, в той избе, вот как ваша милость, заболел.

— Неужели ты думаешь, что и я заболею?

— Боже упаси, милостивый государь! Извините, так, пришлось к слову. Товарищ его ждет день, ждет другой, третий, да видит, что тот больно перепал, попрощался с ним и пошел в Адесту (Одессу), бросив на мои руки больного. Хозяйка моя ворчала, да и поделом. Правду сказать, ведь его не на плечах же было тащить. Я только того жалею, что не выволок нехристя за двор: тогда ж было святое лето, тепло...

Прошло еще три дня, а хворый, не к вашей чести молвить, лежал в той половине под печкой, но на соломке; и, грех сказать, перед ним всегда стояло целое ведро воды, которую он, как в силах еще был, то и знай, что дудлил. Прошло, говорю, еще три дня, я к нему, чтоб свесть счетец, а ему не туда шло. Во рту, извините, у него было черное, как в

трубе (ух! мороз по коже подирает, как вспомню бесовскую его рожу) — и он, вытараща на меня глаза, просил привести ему прастора; знающие люди растолковали мне, что это он требует священника. За священником отсюда надо было ехать верст двадцать и заплатить ему, а надеяться-то, как видно было, не на что. Да он, голубчик, и не дождался бы, потому что к вечерней поре, на беду нашу, умер. Вот пришлось еще и похороны отбывать. Но он, вишь ты, как не нашей веры был, то отец Андрей пропел только ему «Святой Боже!».

Развязали котомку покойника, лежавшую у него под головами, и нашли одну старенькую рубаху, фартук, бритву, ремень, щеточку да кусочек мыла. «Пропали наши труды и издержки!» — сказал я жене. Но в боковом кармане бекешки его сыскали зашитый пачпорт и пятнадцать рублей ассигнациями. Вот после этого послали за священником и, хоть без гроба, а все-таки похоронили как бы христианина. Дался ж нам знать этот христианин!..

Свеча, стоявшая в каменном подсвечнике, до половины сгорела; и нагоревшая светильня, которую забыли поправлять, занявшись повестью, набрасывала глубокие тени на лица слушавших. Муха, жужжа, кружилась около тусклого огня и наконец, налетевши, потушила свечку. Ветр, кажется, рванулся сильнее и пронесся по всему трактиру. Офицер заметил, что все, кроме жидов, молча начали осенять себя крестами. Огонь опять вздули; хозяин занял прежнее место и продолжал:

— Через две ли, три ли недели, не помню, случилось проезжать здесь честному купечеству; знаю, что это было в ненастную погоду. Вот я их почтил; люди-то были славные, тотчас поставили самовар; самовар закипел, как вот и меня позвали; выпил и я, дай им Бог здоровье, чашечку-другую; потом гости мои утешались долгонько, — пели по книжке разные, не простецкие песни, потом честно улеглись. Но в полночь поднялась у них такая тревога, что, прибежав ко мне, сонного меня почти стащили за ногу. Вскоча спросонья, я чуть было страха ради не рехнулся. Все кричим: караул, ищем, ловим, а кого? Бог весть. Да уж потом, как при-

шли в себя, так рассказали мне, что человек с бритвой выполз из печной трубы, вор или сатана, кто его знает.

Накинув халат, я, работник, да их трое вошли вместе в светлицу; свечка горела на своем месте; все было цело — ничего не тронуту: видно, не лихой человек! Правда, в добрый час сказать, а в худой помолчать, здесь этого и не важивалось. Хотели было посмеяться, да что-то смех не шел на ум, и какой-то страх будто всех обуял. Собравши пожитки свои, гости мои доночевали уже в этой избе. Мне было и стыдно, и досадно. «Делать нечего», — думал я, и таки сейчас погрешил на немецкого мертвеца. — Его, видишь, в чем лежал, в том и зарыли, а он так и явился им».

Потом все уж так было; только при многих не стал являться; но возней и стукотней всегда разгонял добрых людей; чуть же кто один заночует, гляди, в полночь ползет из подпечья. Выбирались такие молодцы, что хотели было с ним потягаться, да куда против нечистой силы! Не одна полкварта водки пропала у меня для этого, а все как придет полночь, куда хмель и храбрость денутся. Бедовое дело, да и полно!... Уж чего мы не делали, кого не спрашивали, — ничто не помогает. Святили дом, двор, даже поле кругом верст на пять. Удержанное мною за постой и харч больного было отдано на церковь; ходил к отцу Андрею и просил его изгнать беса, но молодой этот священник что-то мне с речей не понравился; я к отцу Прокофию, старичку: тот хоть и при советовал вбить осиновый кол в могилу да таковой же крест поставить в головах грешника, но и от этого ничего не было пользительно; все, что знал, делал; но мы принуждены были забить дверь той половины. В этой же и сенях, благодарим Создателя, все покойно. Видно, уж таки придется бросить это место вовсе; жаль только колодезя.

— Если только сказанное тобою не ложь, — отвечал офицер, то вели мне сейчас приготовить там постель. — Увидим, покажется ли твой выходец с того света. Думаю, что у него на этот раз пропадет охота шутить, и я докажу вам, как вы глупы. Если же кто явится, то не погневись, pistolеты мои стреляют метко. Помни, хозяин! Уговор паче денег.

Напрасно старался хозяин уговорить лихого улана. Встав с гордым видом, он закрутил усы, взял со стола пистолеты, привинтил покрепче кремни, переменял на полках порох, попробовал заряды, что все делалось при изумленных и молчаливых зрителях с некоторой торжественностью; потом приказал нести за собой свечу в неприступные комнаты, взял саблю, надел фуражку и повторил опять хозяину:

— Смотри ж! чтоб мне не быть виновату, если кого порядком попотчую: шутки- то по ночам плохи.

С замешательством и неохотно повиновался трактирщик повелительному голосу улана. Но хозяйка, мало обращавшая до этого времени внимания на знакомое ей дело, теперь вдруг хотела было загородить мужу дорогу и закрычала:

— Что ты, Петрович! В уме ли ты, али нет? Видано ли? У тебя жена, дети, — ты бы сперва об этом подумал. Ну, пусть уж хоть работник несет свечку, коли его милости так захотелось; а не то, как ему Господь поможет, он и сам справен будет.

Тут она опять вцепилась было за полу мужнина кафтана и никак не соглашалась отпустить в такое опасное путешествие; но, как известно, что гг. военные шутить не любят, то хозяин, волею или неволею, а должен был взять в одну руку свечу, а в другую ключ и идти с работником впереди, освещая дорогу.

Давно не отворявшаяся дверь, осевшая на пороге, тяжело закрипела; вошли в комнату, из которой понесло пустою; хозяин и работник крестились трехперстным сложением. На полу, правда, чисто смазанном, лежала упавшая с потолка белая глина; а на окнах, всегда запертых, и в углах косяков висели длинные паутины с навязшими в них мухами и комарами. Довольно просторная изба эта была от печи к стене перегороджена досками, что значило — две комнаты. В меньшей стояло что-то похожее на кровать с веревками и лежал опрокинутый столик; на нем поставили свечку.

Офицер, во время приготовления постели, подпалив недокуренную трубку, ходил в передней и дымом турецкого

табаку очищал тяжелый воздух, и насвистывал порою знакомые мазурки. Потом, обратясь к хозяину, назвал его простаком, что он не указал прежде этих покоев, где бы он был давно как нельзя лучше. Трактирщик кланялся, потряхивал головой и, пятясь за дверь, приглаживал волосы, потому что уже недалеко оставалось до полуночи. Когда исчез последний клоч хозяйской бороды, офицер вынул часы: было десять.

Войдя в будущую свою спальню, он снова пересмотрел свои пистолеты, которые можно было во всякое время достать с столика рукою. Потом, не рассудя раздеваться, потому что там несколько было сыро и даже холодно, бросился в старом, дорожном сюртуке на постель с огромной ситцевой подушкой, в знак почтения препровожденной сюда верхом на работнике.

Однако ж, как будто что-то вспомнив, встал, оглядел оконницы, накинул крючок на дверь, заглянул под печную трубу, и, таким образом, обошедши рундом* все притоны, от куда опасался воров, маршировал к постели. Легши, он доказывал себе, что ни нечистой силе, ни ворам делать у него нечего: сентябрьская треть уже прошла, а до генварской пока еще было далеконочко. Во всяком, однако, случае он приготовился порядком встретить, если, сверх ожидания, вползет к нему какое несчастье. Долго он еще курил трубку; свеча оставалась гореть на целую ночь.

Все утихло. Сентябрьская ночь тянулась едва заметно. Буря перестала, и только ветер высвистывал осенние песни в окнах и щелях опустевшего жилища. Стук соседних дверей тоже прекратился — в корчме все уже спало. В степи завыл волк. Голова молодого человека обнялась мечтами; думы его ушли далеко, понеслись воздушные....

«Ах, если б она так любила, как я, если б я мог надеяться...»

Около этого вились его надежды, его желания. Полуопущенные веки становились тяжелее; трубка выпала; темные, неясные грезы начали мешаться с мыслями, он стал

* Обход дозором, от *фр.* *ronde* или *нем.* *Runde*.

засыпать... Вдруг стоявший подле столик так треснул, что ангел сна робко отшатнулся от изголовья: Улан проснулся. Первым движением его было тотчас схватиться за пистолеты, но, одумавшись и оглядяся, он опять положил их. В комнате было пусто. Однако он осмотрел еще пристально дверь передней комнаты.

Треск лопнувшей столовой доски мог произойти от перемены температуры, погоды и других известных причин, о чем не преминул подумать и офицер; но надобно признаться, что с этих пор он стал менее покоен; особенно, когда, вслушиваясь, он начал различать какой-то глухой шорох, ворчанье и даже дыхание в темной комнате. По нему пробежал мороз: напрасно старался он уверить себя, что это игра встревоженного воображения или что-нибудь другое... Нет, он слышит внятно глубокий вздох. Тут кровь кинулась ему в лицо и он, схватя пистолет, закричал изменившимся голосом:

— Ну-ка, любезный, показывайся, да попроворней, — и чур из-за угла не стрелять!

Ответа не было; по-прежнему все стало тихо. Не знаю, почему вызывающий не хотел взять свечу посмотреть, какой шум его встревожил. Оставаясь несколько минут в принятом положении, он присел на кровать и думал: «Видно, у этого подлеца нет огнестрельного оружия; рука презренного убийцы надежнее употребляет нож. Однако ж, черт возьми, пора бы взять покой! Обойду снова все углы».

Но лишь только хотел он встать, как увидел в дверях нечто похожее на оптическое явление.

Тонкий, прозрачный призрак по-видимому принимал более и более различаемые формы человека. Офицер молча приподнялся. Тень переступила обыкновенным образом через высокий порог и, поклонясь, у дверей остановилась.

Глаза у ней горели, как у кошки; курчавые, исчерна поседевшие волосы на продолговатой голове походили на баранью шапку; лицо было длинное, вытянувшееся, темного цвета, с впалыми щеками, синими, большими губами, с небритой щетинистой бородою и тонким, будто бумажным носом, который подымался дугою от самых бровей. Роста при-

зрак был среднего и казался далеко лет за сорок. На нем была бекеша кофейного цвета, старая, суконная, короткая до колен, обложенная по краям черными мерлушками. На шее был надет холстинный фартук, на пуговке ремень, вытянутый левой рукою, в которой он держал готовую для бритва деревянную мыльницу; правая рука поправляла бритву.

Офицер равнодушно спросил, зачем он пришел. Но сомкнутые уста призрака не растворялись. Безмолвная фигура, тощее которой трудно себе что-нибудь вообразить, только указывала бритвой место на кровати, давая разуметь, чтоб он сел, и потом опять продолжала свое дело. Воин наш, не иначе думая, что это бессильный разбойник, который, запугав сперва чудным появлением, напал потом на испуганных, уставил пистолет прямо ему в грудь и советовал по добру-поздорову убираться вон. Непрошенный посетитель нисколько, по-видимому, не обращал внимания на угрозы и продолжал свои приготовления. Вдруг пистолетный выстрел раздался в комнатке, и, когда дым несколько развеялся, таинственный гость стоял на прежнем месте: бумажный пыж горел у него на груди; пуля расшибла в другой комнате окно и стекло, зазвоня, брызгами полетело во все стороны.

Двинувшись на полшага вперед, житель того света опять начал кланяться, указывая бритвой на кровать. Второго выстрела не было: рука, сжимавшая пистолет, оцепенела...

Не имея сил ни закричать, ни убежать, потому что дверь была загорожена страшным призраком с сомнительной жизнью, офицер смотрел на него пристально; тот также, моргая в пороховом тумане глазами. Тут наш храбрый улан вспомнил все молитвы своего детства, давно забытые, и начал их перечитывать шепотом...

Но дух не рассыпался, не редел, не бежал пред восклицаниями псалмопевца; он продолжал кланяться.

Решившись еще раз отделаться от духа оружием, он схватился за саблю; страшно загремела она в железных ножах, сверкнула в воздухе — и свечи как не бывало. Упавши на левое плечо привидения, стальная полоса пролетела, как молния, под кровавою рукою, не встретив никакого препят-

ствия. Призрак только принял вид важный, однако не уронил ни бритвы, ни мыльницы.

— Баста! — сказал улан, бросая на пол саблю и опускаясь на кровать. Быть по-твоему. Режь, господин черт! Видно, от тебя ни отбиться, ни откреститься. Впрочем... Да зачем же тебе меня уродовать, когда ты можешь и так задушить?

Перерубленная наискось свеча, упавши на пол, погасла. Сделалось темно. Один грозный призрак духа освещал комнату каким-то фосфорическим, голубоватым пламенем.

Когда улан уселся на кровати, привидение бросилось к постели с неистовой радостью; положило бритву на стол и начало намывать улану бороду, усы, бакенбарды, который сидел уже ни жив, ни мертв.

Полуживому страдальцу не хотелось видеть чертовской резни, и он закрыл глаза; но призрак только брил, и, к чести его должно сказать, очень искусно и проворно, хотя и торопливо, чего не мог не заметить умиравший под его рукою. Изредка только он вздрагивал, когда чувствовал дыхание цирюльника, веявшее холодом погребальным. Ему казалось, что пальцы, ухаживавшие около бороды его, были с ужасными, отросшими когтями, сухие, коленчатые, дрожащие и поминутно хрустевшие в составах.

Менее, нежели в пять минут, он был обрит; но с этим вместе, увы! он лишился и прекрасных, темного цвета бакенбард, не раз привлекавших скромное внимание... К счастью еще, что остались усы, иначе...

Петух на чердаке, хлопнув три раза крылами, смело и громко запел, ему другой откликнулся в соседней избе. Дух исчез. В избе стало темно и тихо, как в склепе; сквозь пороховой дым послышался запах свежей земли...

Петухи пропели уж несколько раз... Утро засветлелось сквозь щели окончин; офицер только переменял положение: он лег; его сожигал жар горячки после продолжительного озноба.

Поутру, это было в воскресенье, хозяин вышел с заспанными глазами, в овчинном полушубке на опашку и нерасчесанными русыми кудрями, в которых кой-где торчали с подушек перья, спросить денщика: не звал ли его к себе ба-

рин? Узнавши, что нет, начал хвалить его. Он поспешил в хату сообщить прочим о благополучном ночлеге г-на офицера.

— Небось, нечистая сила тоже, видно, смекает: к военному не то, что к нашему брату — не сунулся. Барин-то, мой голубчик, спит себе под воскресенье, да и дверь на крюк.

Но когда узнал от одного из жидов, сбиравшихся уехать, что ночью слышен был выстрел, о котором он, еврей, потому молчал, что до него тут не касалось дело, закричал:

— Да что ж ты, пострел, не разбудил меня? Ах ты, бедная головушка моя! Уж как в самом деле случилось какое несчастье, пропал я со всей семьей: от нижних тогда не оберешься, да как бы и в городе еще не насидеться!..

И бросился вон из избы, за ним прочие, жиды после всех. Сперва, став у дверей светлицы, они спросили позволения войти; но как ни ответа, ни привета не было, то дверь отворили силою.

Офицер лежал весь в огне; лицо у него было багровое, без бакенбард, валявшихся клочьями по полу; там же была перерубленная свеча, без ножен сабля и со спущенным курком пистолет. Все доказывало, что ночь была не совсем благополучна. Один из жидов, занимавшийся ради насущного хлеба унизительным между своим народом ремеслом — хирургическими операциями, — пустил кровь больному. Он опомнился, и ему скоро сделалось легче.

В следующую ночь страхов и ужасов более не было.

Однако он все не мог выехать тот день. Поутру же, когда ласточка, за море еще не улетевшая или в пруду не потонувшая, сидя на жерди, приветствовала тихим своим щебетаньем красную зорю, офицер уже одевался. Расплатясь с хозяином и получив от него множество благодарственных поклонов и всякого рода желаний, вышел он в нетерпении на дорогу и ждал лошадей. Печально окинув взором пустые окрестности, которых и юное солнце не могло для него расцветить, он вздохнул: тоска горою легла на грудь его. Он увидел опять осиновый крест, но уже подломленный бурей памятной ночи, покачнувшийся набок — его никто

не поправит, не подымет, и черный ворон не будет уже на нем отпевать души погибшего здесь грешника.

По дороге тянулось несколько плетеных из ракишника арб, пустых и с виноградом, не проданным в Полтаве и Кременчуге, запряженных каждая парой двугорбых верблюдов в ярмо. На одной из них сидел татарин в аладжовой полосатой курточке со шнурками на спине и рукавах, по-албански выложенной, и под скрип огромных косящетых*, несмазанных колес пел известную в Крыму песню, сочиненную каким-то турецким пашою, бывшим в России. Голос родного напева увлекал душу татарина далеко от арбы, и он, по временам, ударял кулаком в пустую баклажку вместо бубна там, где этого требовала песня, акустические его нервы и гармоническое чувство. Это особенно делалось при каждом припеве после всякого куплета в честь русской красавицы:

Ахмечетен яш ла-рим ,
Делашир сакар баш ла-рим;
Гей, дан багай Рүсса,
Дудукис банам мацца!

и проч.

Эта однообразная песня усилила еще более его тоску: он уехал.

С тех пор приметно терялась его живость и веселье. Бакенбарды не выросли.

* Аладжовый — от аладжа, турецкая шелковая или полушелковая полосатая ткань; косящетый — здесь: собранный из деревянных планок.

Есть предание, что для успокоения блуждавшего духа необходимо нужна была добровольная жертва от какого-нибудь проезжего, который допустил бы призрак обрить себя.

Повествовательница знала покойника лично: он убит в прошедшую турецкую кампанию.

Владимир Одоевский

ПРИВИДЕНИЕ

...Нас сидело в дилижансе четверо: отставной капитан, начальник отделения, Ириной Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости, изредка принимались спорить, но ненадолго; Ириной Модестович говорил без умолку; все — мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка — все подавало ему повод к разговору; на радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую роль. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины, — и преспокойно дремал под говор его тоненького голоса. Другие товарищи скуки ради слушали его не без внимания — а Ириною Модестовичу только того и надо.

— Что это за замок? — спросил отставной капитан, выглядывая из окошка. — Вы, верно, знаете про него какую-нибудь курьезную историю, — прибавил он, обращаясь к Ириною Модестовичу.

— Я про него знаю, — отвечал Ириной Модестович, — точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов, то есть, что в нем люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную роль. Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами: ведь это все равно — была бы вера в рассказчика. Все путешественники, по большей части, так же рассказывают свои истории; только у них нет моей откровенности.

В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине... Не воображайте тут ничего грешного: соседка моя была уже в тех летах, когда женщина сама признается, что пора ее миновалась. У ней не было ни дочерей, ни племянниц; дом ее был похож на все ***ские дома: три-четыре комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной... но не знаю, было что-то в обращении этой женщины, в ее са-

мых обыкновенных словах, я думаю, даже в ее столе красного дерева, покрытом клеенкою, или в стенах ее дома, — было нечто такое, что каждый вечер нашептывало вам в уши: пойти бы сегодня к Марье Сергеевне. Это испытывал не я один: в длинные зимние вечера к ней сходились незваные гости, как будто заранее согласившись. Наши занятия были самые обыкновенные: мы пили чай и играли в бостон; иногда перелистывали журналы; но только все это нам веселее было делать у Марьи Сергеевны, нежели в другом доме; это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околотке, ни о поведении своих слуг; не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть; не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь; не сердилась, когда кто из нас в продолжение полугода не являлся в ее гостиную и даже забывал дни ее именин или рождения; не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество ***ских дам нестерпимым; не была ни ханжа, ни суеверна; не требовала от вас, чтобы вы то-то думали и о том-то говорили; не приходила в ужас, когда вы были противного с нею мнения; не требовала от вас никаких пожертвований; не усаживала насильно за карты или за фортепьяно, — понимала терпимость во всем ее значении; в ее гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить все, что ему было угодно; словом, в ее доме царствовал хороший тон, тогда редкий в ***ских обществах и которого сущность до сих пор немногие понимают. Я сам живо чувствовал различие в обращении и в жизни Марьи Сергеевны с другими женщинами, но не умел этого впечатления выразить одним словом.

— Позвольте вас остановить, — сказал начальник отделения. — Как это, — будто бы уж хороший тон состоит в том, чтобы хозяйка не занималась гостями? Нет, помилуйте, — мы сами бываем в наилучших компаниях... я с вами поспорю. Как это можно! как это можно!..

— Говорят, — отвечал Ириной Модестович, — что где обращение хозяйки проще, там гостям просторнее и спокойнее, и что человека, привыкшего к хорошему обществу, всегда узнают по простоте его обращения...

— И я того же мнения, — прибавил отставной капитан, — терпеть не могу всех этих вычур! Бывало, на вечерах у нашего бригадного генерала не расстегнись, не пошевельнись; тоска, да и только! То ли дело, как сойдешься с своим братом: мундир долой, бутылку рома на стол — и пошла потеха...

— Нет, воля ваша, — возразил начальник отделения, — не могу с вами согласиться! Что это такое простота? Простота! для простоты довольно своего дома; но в свете приятно показать свое обращение, свое умение жить с людьми, умение каждое слово весить на весах, чтоб в каждом вашем слове можно было заметить, что вы не неуч какой-нибудь, а человек благовоспитанный...

Ириной Модестович находился в совершенном недоумении между этими двумя противоположными полюсами и выдумывал средство, как бы не попасть ни в пуншевую беседу, ни в компанию благоприличного господина. Видя смущение моего приятеля, я вмешался в разговор.

— Однако ж этак, — сказал я, — мы никогда не дойдем до конца нашей истории. На чем, бишь, вы остановились, Ириной Модестович?..

Наши противники замолчали, потому что оба были довольны собою: начальник отделения был уверен, что в прах разразил все рассуждения моего приятеля; а капитан, — что Ириной Модестович одного с ним мнения.

Ириной Модестович продолжал:

— Я, кажется, сказал вам, что мы, сами не зная, каким образом, почти каждый вечер сходились к Марье Сергеевне, не сговариваясь заранее. Должно, однако ж, признаться, что такие импровизации, как все импровизации в свете, не всегда нам удавались. Иногда сходились такие, из которых двое играли только в вист, а два другие только в бостон, одни играли в большую, другие в маленькую — и партии не могли состояться.

Так случилось однажды, как теперь помню, в глубокую осень. Дождь с изморозью лился ливнем, реки катились по тротуарам, и ветер задувал фонари. В гостиной, кроме меня, сидели человека четыре в ожидании своих партнеров. Но партнеров, кажется, испугала погода, а мы между тем занялись разговором.

Разговор, как часто случается, переходя от предмета к предмету, остановился на предчувствиях и видениях.

— Так, я и ждал этого! — вскрикнул начальник отделения, — без привидений у него не обойдется...

— Нет ничего мудреного! — возразил Иринеи Модестович, — эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание; наш ум, изнуренный прозою жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни.

Почтенный чиновник значительно кивнул головою, желая показать, что он совершенно вникнул в значение этих слов. Иринеи Модестович продолжал:

— Уже были рассказаны по очереди все известные события в этом роде: о людях, являвшихся после смерти; о лицах, которые заглядывают к вам в окошко в третьем этаже; о танцующих стульях и о прочем тому подобном.

Один из собеседников во все продолжение этого рассказа хранил глубокое молчание, и лишь исподтишка улыбался, когда мы вскрикивали от ужаса. Этот господин, уже весьма пожилых лет, был закоснелый вольтерьянец старого века; он часто в наших спорах, не шутя, заключал свои доказательства каким-нибудь стихом из «*Épître à Uranie*» или из «*Discours en vers*» Вольтера* и удивлялся, когда и после этого мы осмеливались с ним не соглашаться; любимая его поговорка была: «Я верю только в то, что дважды два четыре».

Когда весь арсенал наших рассказов истощился, мы обратились к этому господину с насмешливою просьбою рас-

* «Послание к Урании», «Рассуждение в стихах» (*фр.*).

сказать нам что-нибудь в том же роде. Он угадал наше намерение и отвечал:

— Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней; я в этом пошел по батюшке; ему вздумало однажды явиться привидение — и привидение во всем порядке: с бледным лицом, с меланхолическим взглядом; но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему и никому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадается в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы, которые я им строю; но не думайте, однако ж, чтоб я не мог также рассказать страшной истории. Слушайте ж. Я вам расскажу историю истинную; но бьюсь об заклад, что у вас волосы станут дыбом.

Лет тридцать тому назад, — я тогда только что еще вступил в службу, — наш полк остановился в одном местечке; мы были в резерве; носились слухи, что кампания оканчивалась, и эти слухи подтверждались тем, что нас более месяца не трогали с места. Этого времени для военных очень довольно, чтоб подружиться с жителями. Я стоял в доме у одной зажиточной помещицы, премилой, веселой женщины и большой говоруньи. Мы жили с ней душа в душу. Почти каждый вечер у нее собирались гости, вот как сюда, и мы проводили время очень весело. В версте от этого местечка, на небольшом возвышении, находился старинный замок с полукруглыми окошками, с башенками, с вертушками — словом, со всеми этими причудами так называемой готической архитектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые, при нынешнем упадке вкуса, опять входят в моду. Тогда нам это и в голову не входило. Мы просто находили этот замок уродливым, каким он и был в самом деле, и сравнивали то с амбаром, то с голубятней, то с паштетом, то с сумасшедшим домом.

«Кому принадлежит этот кондитерский пирог?» — спросил я однажды у моей хозяйки.

«Моей приятельнице, графине***, — отвечала она. —

Она премилая женщина; вам бы надобно познакомиться с нею... Графиня Мальвина прежде была очень несчастлива, — продолжала хозяйка, — много она вытерпела на своем веку. В молодости она влюбилась в одного молодого человека; но он был беден, хотя и граф, и ее родители никак не соглашались выдать ее за него замуж. Но графиня была пылкого нрава; она страстно любила молодого человека, и наконец не только убежала с ним из дома, но вышла за него замуж, что, по-моему, было совсем лишнее. Вы можете себе представить, сколько шуму наделало это происшествие. Мать графини была женщина самого сурового нрава, старого века, гордая знатностью своего происхождения, надменная, окруженная толпою ласкателей, привыкшая, в продолжение всей своей жизни, к слепому повиновению всех ее окружающих. Побег Мальвины был для нее сильным ударом; с одной стороны, неповиновение родной дочери приводило ее в бешенство, с другой, она видела в этом поступке вечное пятно своей фамилии. Бедная графиня, зная нрав своей матери, долго не смела ей казаться на глаза; письма ее оставались без ответа; она была в совершенном отчаянии; ничто ее не утешало: ни любовь мужа, ни уверения друзей, что гнев матери не может более продолжаться, особливо теперь, когда дело сделано. Так протекло шесть месяцев в непрерывных страданиях. Я часто видала ее в это время — она была на себя непохожа. Наконец она сделалась беременною. Беспокойство ее увеличилось. В это время обыкновенно нервы у женщин играют большую роль: они чувствуют живее; всякая мысль, всякое слово тревожит их в тысячу раз более, нежели прежде. Мысль родить дитя под гневом матери сделалась для Мальвины нестерпимою; эта мысль душила ее, мешала ей спать, истощала ее силы. Наконец она не выдержала. “Что бы ни было, — сказала она, — но я брошусь к ногам матушки”. Тщетно мы хотели остановить ее; тщетно мы советовали подождать родин и тогда, вместе с ребенком, предстать раздраженной графине; тщетно мы говорили ей, что вид невинного ребенка всего сильнее действует на сердца самые загубелые, — наши слова не подействовали. Робость превозмогла, и однажды утром, когда еще все спали,

бедная графиня незаметно вышла из дома и отправилась в замок, ворвалась в спальню, когда еще мать ее лежала на постели, и бросилась на колени.

Старая графиня была женщина странная; она принадлежала к числу тех существ, которых отгадать трудно. Никогда нельзя узнать, чего им хочется, а им самим, может быть, это всего труднее. На ее расположение духа действовало все ее окружающее: незначительное слово, полученное письмо, погода. Она то радовалась, то огорчалась от одних и тех же причин, смотря по этим маловажным обстоятельствам.

Первое действие, произведенное на графиню ее дочерью, был испуг. Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина в белом платье, которая с рыданием хватала ее за колени и стаскивала с нее одеяло. Сначала графиня приняла дочь свою за привидение, потом за сумасшедшую, а наконец ее испуг превратился в досаду. Ее не тронули слезы дочери; ее не тронуло ее положение; ее не коснулось материнское чувство, — эгоизм торжествовал. “Прочь, — вскричала она. — Я не знаю тебя; проклинаю тебя!..” Бедная Мальвина едва не лишилась памяти, но материнское чувство придало ей силы. С трудом, но с выразительностью произнесла она прерывающимся голосом: “Кляните меня... но пощадите моего ребенка”. “Проклинаю тебя, — повторила раздраженная графиня, — и твоего ребенка! Пусть будет он тебе казнию!” Бедная Мальвина упала на пол замертво.

Этот обморок произвел на старую графиню больше действия, нежели все слова ее дочери. Графиня испугалась снова. Ее причудливые нервы не могли снести этого вида. Она проворно вскочила с постели, позвонила, послала за доктором, и, когда несчастная дочь очнулась, она уже была в объятиях своей матери. Все было прощено, забыто...

С тех пор Мальвина с своим мужем переселилась в замок. Она вскоре родила сына. Старая графиня, пристыженная своим недостойным поступком, казалось, сделала целью жизни утешать свою дочь всем, что только возможно человеку. Несколько раз она торжественно отрекалась от своей клятвы, написала это отречение на бумаге и заставила свою дочь

носить его на себе в медальоне. Молодая графиня никогда его не снимает. Ее сын вырос, вступил в службу; но донныне старая графиня почитает себя в долгу перед своею дочерью и старается тешить ее, как ребенка. Ее богатство дает ей все к тому нужные способы. Кажется, сама судьба старается заглаживать проступок старой графини. Недавно выиграла они процесс в несколько миллионов. Это дало им средство украсить свой замок всеми причудами роскоши. Чего вы там ни найдете: и английский сад, и чудесный стол, и погреб со столетним венгерским, и фонтаны холодной и теплой воды, и мраморные полы, и зимние сады — рай, одним словом! балы и вечеринки не прерываются. Если хотите, я вас представлю графине: вы будете приняты с восхищением...»

Что могло быть приятнее этого предложения для молодых офицеров, для которых, в продолжение полугода, все наслаждения мира ограничивались братскою попойкой в курной избе?

— А не худое дело! — заметил капитан, поглаживая усы.

На другой же день мы отправились к графине, были представлены нашею хозяйкою и имели случай увериться, что она нас не обманула. Дом был поставлен на истинно барскую ногу. Каждому из нас отвели особую комнату, в которых все было придумано для удобства жизни: прекрасная пуховая постель, которая казалась нам чудом после соломы; в каждой комнате ванна с холодными и теплыми кранами; все прихоти туалета; слуги, которые ходили на цыпочках и угадывали малейшее желание; каждый день чудесный обед с чудесными винами. Старая графиня, которая уже не вставала с кресел, была еще любезна, а так называемая молодая графиня, хотя ей было лет за сорок, была свежа, жива и вертлява, как пятнадцатилетняя девочка. Многие из наших почли за долг отпустить ей армейские нежности, а иные и по уши в нее влюбились. Ее муж смотрел на это сквозь пальцы и, казалось, еще радовался, что его жена имеет случай кокетничать и возбуждает страсть молодых офицеров. Привычка к удовольствиям, беспрестанная рассеянность были необходимостью, жизнью в этом доме. От нас требовали только одного: есть и пить целый день и танцевать до

упаду целую ночь. Мы катались, как сыр в масле. Чрез несколько дней радость и удовольствие в доме удвоились. Приехал из отпуска сын молодой графини — славный, веселый малый. Он, подобно нам, также долго скитался по курным избам и со всей ненасытностью молодости предался удовольствиям, которые представлял ему домашний кров и круг веселого семейства.

Назначен был день нашего выступления, и хозяева захотели угостить нас последним великолепным балом. Приглашены были соседи и соседки из всех окружающих мест; собирались иллюминировать сад и сжечь чудесный фейерверк. Накануне, посреди толкований о завтрашнем дне (ибо мы, почти как домашние, принимали участие во всех хозяйственных хлопотах), зашла речь, как теперь, о привидениях. Молодая графиня вспомнила, что есть одна комната в замке, которая с давних времен пользуется привилегией пугать всех жителей околотка разными страшными звуками и видениями. Эту самую комнату, за недостатком места, занимал сын графини. Он, смеясь, уверял, что до сих пор домовые производят на него одно действие: заставляют его спать богатырским сном. Мы, посмеявшись с ним вместе, разошлись по своим спальням. На другой день съехались в замок множество гостей. Мы начали танцевать едва ли не с десяти часов утра, и танцевали вплоть до обеда, а после обеда вплоть до полуночи. Никто из нас не думал о том, что завтра в пять часов надобно было садиться на коня. Но, сказать правду, к концу дня мы были измучены донельзя и не без удовольствия заметили, что к первому часу гости стали уже разъезжаться. В комнатах становилось пусто; мы хотели также разойтись по спальням; но молодая графиня, для которой двадцать четыре часа танцев было то же, что выпить стакан воды, усердно упрашивала нас приглашать беспрестанно дам вальсировать, чтобы удержать разъезжающихся. Мы истощили последние силы, но наконец принуждены были просить дозволения у графини откланяться, ссылаясь на ее сына, который давно уже отправился в свою спальню.

«О, — сказала графиня, — что вам брать пример с этого

лентяя! Надобно проучить его за его леность! Как можно лечь спать, когда в зале еще столько хорошеньких дам! Пойдемте за мною!»

Молодой человек спал тем беспокойным сном, какой обыкновенно бывает после дня, проведенного в беспрестанном движении. Скрип двери разбудил его. Но каково было его удивление, когда, при бледном свете ночной лампы, он увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели! Впросонках схватил он пистолет и вскричал: «Прочь, застрелю!» — но привидение, бывшее впереди, все приближалось к его постели и, казалось, хотело обхватить его своими распростертыми руками. В испуге ли, или еще не совсем пробужденный, молодой человек взвел курок, раздался выстрел...

«Ах, я забыла надеть матушкин медальон!» — вскричала Мальвина, падая. Мы все, одетые привидениями, бросились к ней, подняли простыню... Лицо ее было так бледно, что нельзя было узнать ее: она была смертельно ранена. В эту минуту далекий гул барабана известил нас, что полк уже выступает в поход. Мы оставили скорбный дом, в котором провели столько приятных дней. С тех пор я не знаю, чем все это кончилось; по крайней мере, если я и не видал никогда привидений, то сам был привидением, а это чего-нибудь да стоит. Все рассказы о привидениях в этом роде. Я чаю, Бог знает что теперь об этом выдумали; а дело было просто, как вы видите.

И рассказчик засмеялся.

В это время один молодой человек, слушавший всю повесть с большим вниманием, подошел к нему. «Вы с большою точностью, — сказал он, — рассказали это происшествие; я его знаю, ибо сам принадлежу к тому семейству, в котором оно случилось. Но вам неизвестно одно: а именно, что графиня здравствует до сих пор и что вас приводила в комнату ее сына не она, но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в замке».

Рассказчик побледнел. Молодой человек продолжал:

«Об этом происшествии много было толков; но оно ничем не объяснилось. Замечательно только то, что все те, ко-

торые рассказывали об этом происшествии, умерли чрез две недели после своего рассказа». Сказавши эти слова, молодой человек взял шляпу и вышел из комнаты.

Рассказчик побледнел еще больше. Уверительный, холодный тон молодого человека, видимо, поразил его. Признаюсь, что все мы разделяли с ним это чувство и невольно приумолкли. Тут хотели завести другой разговор; но все не ладилось, и мы вскоре разошлись по домам. Чрез несколько дней мы узнали, что наш насмешник над привидениями занемог, и очень опасно. К его физическим страданиям присоединились грезы воображения. Беспреданно чудилась ему бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели — и вообразите себе, — прибавил Ириней Модестович трагическим голосом, — ровно чрез две недели в гостиной Марьи Сергеевны сделалось одним гостем меньше!

— Странно! — заметил капитан, — очень странно!

Начальник отделения, как человек петербургский, привыкший ничему не удивляться, выслушал всю повесть с таким видом, как будто читал канцелярское отношение о доставлении срочных ведомостей.

— Тут нет ничего удивительного, — сказал он важным голосом, — многое бывает в человеке от мысленности, так, от мысленности. Вот и у меня был чиновник, кажется, такой порядочный, все просил штатного места. Чтобы отвязаться от него, я дал ему разбирать старый архив, сказавши, что дам ему тогда место, когда он приведет архив в порядок. Вот он, бедный, и закабалил себя; год прошел, другой, — день и ночь роется в архиве: сжалился я наконец над ним и хотел уже представить о нем директору, как вдруг пришли мне сказать, что с моим архивариусом случилось что-то недоброе. Я пошел в ту комнату, где он занимался, — нет его; смотрю: он забрался на самую верхнюю полку, присел там на корточках между кипами и держит в руках нумер.

«Что с вами? — закричал я ему, — сойдите сюда». Как вы думаете, что он мне отвечал? «Не могу, Иван Григорьич, никак не могу: *я решенное дело!*» И начальник отделения захохотал; у Иринея Модестовича навернулись слезы.

— Ваша история, — проговорил он, — печальнее моей.

Капитан, мало обращавший внимания на канцелярский рассказ, кажется, ломал голову над повестью о привидении, и наконец, как будто очнувшись, спросил у Ирины Модестовича:

— А что, у вашей Марьи Сергеевны пили ли пунш?

— Нет, — отвечал Ириной Модестович.

— Странно! — проговорил капитан, — очень странно!

Между тем, дилижанс остановился; мы вышли.

— Неужели в самом деле рассказчик-то умер? — спросил я.

— Я никогда этого не говорил, — отвечал быстро Ириной Модестович самым тоненьким голоском, улыбаясь и припрыгивая, по своему обыкновению...

— ВЪ

КОЛДУН

Повестъ

Верстах в 15-ти от Воронежа, на берегу тихого Дона, стоит под горою, окруженный лесами, пустынный барский дом. Полуразрушенная каменная ограда замыкает со всех сторон обширный двор, среди коего заметны еще по дорожкам, пресекающимся крестообразно, остатки цветника. Кровля во многих местах обвалилась. Тяжелая дубовая дверь была отперта. Я взошел в дом. Весь нижний этаж со сводами, и вероятно, судя по маленьким с железными решетками окнам, не допускающим много света, служил для кладовых. По дубовой лестнице я взошел в верхний этаж. Остроконечные двери и окна с внутренними ставнями, огромные выдавшиеся печки из расписанных изразцов, с разными столбиками, впадинами и углами, старинная лепная работа на оставшейся щукатуре в потолке, огромные стеклянные люстры и стены, исписанные весьма неискусно букетами цветов, напомнили мне то время, когда наши деды были умнее нашего, заживали себе в своих деревнях, копили денежки, не проматываясь в столицах, и не заботились о том, что говорят в английском парламенте, а невинно предавались сельским занятиям, псовой охоте, тяжбам с соседями и прочим барским затеям. Меня, меж тем, поразили мрачность и одиночество сего нежилого замка в сравнении с живописным его местоположением и с веселою жизнью, шумящею в селе, которое расположено в его близости. Один из тамошних старожилов рассказал мне следующее происшествие; я его передам со всевозможным сохранением истины, и разве только кое-где призову на помощь риторические и сценические положения лиц, к коим мы все привыкли после чтения лепо написанных нравственно-сатирических романов, не говоря уже о других, исторических.

Итак, вот нам, любезные читатели, бль или, если угодно: *этико-сатирическая, эмпирико-магнетическая и нравственно-историческая повесть, которую можно назвать хоть*

КОЛДУН

и к которой в разных писателях отысканы следующие эпитафии:

..... Черт
 Крыл.
..... Бес
 Жук.
..... Демон
 Пуш.

Спросите во всем ...ском уезде, кто там не знает знаменитой фамилии Фаддеевых, прозванных так по их родоначальнику? Кто будет оспаривать их двухсотлетнее право дворянства, несмотря на то, что многие из них находятся теперь между однодворцами? Но и те даже твердо знают, что предки их Фаддей, Антон и Лаврентий служили еще при царях Михаиле Феодоровиче и Алексии Михайловиче многие службы на коне и с пищалью, и были возведены в достоинство эссаулов; что знаменитый Афанасий Лаврентьич, из той же фамилии, заводил многие фабрики при императоре Петре I и, в проезд сего государя в Воронеж, угощал его в собственном своем доме, первым в городе обрил себе бороду, надел немецкий кафтан, стал есть салат и ездить в золоченой колымаге, за что и пожаловано ему было от великого государя и царя в Чертовицком Стану, по правую сторону Дона, мимо ольхового леса до Липяжьего озера, пятьдесят четвертей в поле, а в двух по тому ж. Этот же самый Афанасий Лаврентьич был, как видно, не из простого десятка: закупал земли, кабалил людей, прикрепляя их к землям; итак, неудивительно, что один из его потомков, отставной секунд-майор Петр Алексеич, живший лет за шестьдесят с небольшим в той стране, слыл первым богачом в Воронежском наместничестве.

В передней дома, коего теперешние остатки выше сего описаны, толпились около дубового стола, стоявшего в простенке, человек пять или шесть дворовых людей и с почтительным вниманием слушали старика в темно-зеленом сюр-

туке из шленского домашнего сукна*, который, дочитавши жизнь Симеона Столпника в Четьи-Минее, снял медные очки, сжимавшие ему нос, заложил ими страницу, на которой остановил свое чтение, закрыл огромный фолиант и с видом довольствия обратился к другому малорослому старику, который также сидел за столом и вязал сетки для перепелов.

— То-то, Пантелеич, — сказал он, — кому далась грамота на белом свете, тот и свою душу спасает, да и добрых людей тому же научает.

Молодые парни значительно усмехнулись, глядя друг на друга и предвидя, что между стариками неминуемо с этих слов возникнет спор. Действительно, Пантелеич вспыхнул от гнева и немедленно возразил:

— Как бы не так, Филимоныч. Я не вижу еще, что проку в твоей грамоте. Да и хвастаться тебе еще нечем: читаешь ты не так-то мастерски. Вот поучился бы ты еще у нашего дьячка, у Федора Васильича. То-то истинный чтец. Ты не успеешь прочитать “Богородицу”, а он тебе проговорит всю “Верую”. Твое же что чтение: мямлишь, мямлишь, заикаешься на каждом слове, да и понимай тебя Христа ради.

Пантелеич еще не был доволен, видя, что его слова возбуждали только насмешливую улыбку на устах противника.

— А чему же ты научился изо всего твоего чтения? — прибавил он с жаром. — Когда барин ложится почивать, что, тебя, что ли, он зовет к себе? ты, что ли, тешишь его милость разною быльбою об Иване-царевиче, например, или о Кощее Бессмертном, или о Жар-птице, или о Троянской войне и об Ахилле-царевиче? На что мне твоя бесовская грамота? Когда барину скучно, кто его развеселяет? Пантелеич. Когда девушки шьют в пяльцах и поют, кто с ними сиди и подтягивай, да показывай им лад? Пантелеич. Везде Пантелеич, да и только. Молитву же к Господу Богу я знаю, право, тверже тебя. Скажи-ка мне, например, великий грамотей, какому угоднику поют у всенощной пред благовещением?

* Из шерсти шленских (силезских) овец, завезенных при Петре I.

Пантелеич озадачил Филимоныча. Последний искал и не нашел ответа; но, чтобы скрыть оскорбленное самолюбие, он старался искусным образом дать разговору другой оборот и успокоить неугомонного победителя.

— Я не к тому молвил слово, — сказал он, — и не хотел тебя дразнить. Но из книг я знаю многие примеры, — понимаешь ли? А потому, вот видишь ли, — прибавил он с таинственным видом, — я и не всему радуюсь, что у нас теперь в доме случается.

Филимоныч не успел бы скорее задуть сальную свечку, стоявшую в бутылке на столе, как обезоружить гнев Пантелеича сими словами.

— А что? — спросил он с поспешностью и любопытством.

— Молодым парням не нужно об этом знать, — продолжал Филимоныч вполголоса, — но тебе я, пожалуй, скажу. Только чур, не промолвись!

После сих слов оба старика, уже снова примиренные друг с другом, вышли в соседнюю комнату, и тут Филимоныч, вынув синий клетчатый платок, утер им себе нос, оправился и тем же таинственным голосом спросил у Пантелеича:

— Да разве ты ничего не видишь?

Пантелеич (уставя глаза). Ничего.

Филимоныч. Совсем ничего?

Пантелеич. Убей меня Бог, ничего.

Филимоныч. Ну, то-то же.

Пантелеич. А что такое?

Филимоныч отвернулся от Пантелеича, чтобы понюхать табаку, потом снова, обратясь к нему, продолжал:

— Я тогда же говорил моей старухе Агафье, потом поставил грошовую свечку великому угоднику, хотел было и барину шепнуть, да видно, тому и быть, что Богу угодно.

— Тьфу, пропасть! Да говори, что же это такое? — прервал его уже с некоторым нетерпением Пантелеич.

— Да вот что, — продолжал другой старик, — ты знаешь вот этого помещика, что недавно переселился в свое село Лебяжье, неподалеку отселе? что вчера еще целый день у

барина сиднем сидел, да и теперь еще, никак, у него?

— Федора Иваныча Громова? как не знать! — возразил Пантелеич. — Славный парень! Вчера я отыскал ему кучера, когда он хотел уехать, а он мне за то всунул в руку полтинник, вон, видишь ли. Да собою-то он такой видный, ловкий. Лицо-то у него такое гладкое, а плечи такие дюжие. Признаться тебе, мне кажется, что он сюда ездит недаром. Он на барышню частенько поглядывает.

— На барышню! — пробормотал сквозь зубы Филимоныч. — И мне кажется, что я угадал птичку. Да он не по ней. Мы знаем, что знаем. А то нехорошо, что он так сбратался с нашим коновалом.

— И, пустое! — сказал Пантелеич. — Не верю, чтобы Еремей был колдуном. Всклепали на него, а ты и рад разглашать. Ну станет ли колдун ходить в церковь?

Филимоныч поглядел значительно в лицо Пантелеича, потом с важностью сказал:

— Безграмотный! Да молится ли он в церкви? А я нарочно глядел на него и видел, как он налагал на себя бесовский знак.

Пантелеич. Ну, коли так, то это другое дело!

— Другое дело! — продолжал Филимоныч. — Мы знаем, что знаем. Разве не при мне Еремей заговаривал кровь у пегой водовозки? А намеднись, ночью, на дворе было темно так, что и зги не видать, гром так и стучит, а ветер воет; я засиделся было на именинах у кумы; иду домой мимо избы Еремея: у него светло; меня подстрекнуло любопытство: для чего-де он так поздно не ложится спать? Я хватился за двери — они отперты; вхожу тихо, и вижу: перед свечой стоит старый хрыч, задумавшись и не примечая моего прихода; за ним в углу, там, где тень его ложилась на стену, не могу тебе сказать, что это именно было, человек не человек, зверь не зверь, а показалось мне, будто голова седая и усы седые, и борода седая, и глаза как два фонаря, и весь окутан в чем-то черном. Я было хотел перекреститься, но не успел закинуть руку, как из этого же угла залаял черный кобель и выпрыгнул в окно. Тут уже меня заметил Еремей; я поскорее к другому окну; молния блеснула, и я увидел,

что кобель уже пробежал свиньей мимо окна, повернул за угол избы и закричал петухом. С нами крестная сила! Что за невидальщина! Тут подошел я к Еремею и сказал ему: «У тебя, сват, водятся недобрые гости!» Он вдруг побледнел, как полотно, потом покраснел, словно раскаленный уголь и захохотал таким бесовским смехом, что я давай Бог ноги, как бы только скорее убраться домой да сотворить молитву угоднику великому чудотворцу.

Так рассуждал осторожный Филимоныч с своим товарищем. Они говорили еще долго. Не знаю, был ли убежден Пантелеич в чародействе Еремея; но когда, возвращаясь в избу на ночлег, он переходил широкий двор, то беспрестанно боязливо оглядывался, крестился и отплеывался во все стороны. Между тем, в доме Фаддеева все мало-помалу заснуло. Сначала барышня ушла в свою опочивальню, потом и барин велел, по старому патриархальному обычаю, призвать девку Парашку почесать ему голову гребнем и напечь ему сон тоненьким, самым тоненьким голоском; потом и все лакеи, официанты, гайдуки, скороходы и проч. повалились в передней и всхрапнули сном богатырским.

Но барин, как ни ворочался в своем персидском халате, не мог хорошенько уснуть; а отчего, я это тотчас скажу. Наперед ознакомлю вас покороче с ним. Секунд-майор Петр Алексеич был, как то видно по его чину, некогда человеком военным. Он служил в Преображенском полку еще при государыне Анне Иоанновне, отслужил несколько походов, был в Туречине, в Швеции, в Германии, все воюя; отличился еще в молодых годах при переходе Перекопских линий, и лет под 40 вышел в отставку, женился на Авдотье Николавне, дочери одного воронежского помещика, и поселился неотлучно в своем поместье, уже вам отчасти известном. Секунд-майор Петр Алексеич жил с своею женою примерно хорошо, и плодом их взаимной любви была прекрасная девушка, о которой уже шла речь между двумя верными служителями дома. Но Авдотья Николавна, едва оправясь от родов, занемогла; послали в губернский город за лекарем; лекарь приехал, сочинил лекарство и отправился к другим больным верст за полтора от деревни Петра Алек-

сейча, а Авдотья Николавна между тем, принявши целительное лекарство, отправилась на тот свет. Долго плакал о ней неутешный муж; наконец, похоронил ее и поставил ей памятник с надписью о том, что она была примерною женою и нежной матерью. Петр Алексеич был помещик добрый. Соседи на него даже косились за то, что он давал крестьянам три дня в неделю на себя, исключая воскресенье, которое всегда было за ними. Он, правда, был очень горяч, и по тогдашнему патриархальному обычаю бивал больно, но бивал за дело, никогда не злопамятствовал и от того вообще был очень любим своими крестьянами. Старожил, старик лет 90, рассказывавший мне это происшествие, не забыл прибавить, что покойный барин и его изволил несколько раз жаловать из своих ручек, отчего он очень рано оглох правым ухом. Не удивляйтесь этому, любезные читатели: таковы были нравы десятков за шесть лет!

Итак, барин никак не мог спокойно уснуть. Его все тревожили и пугали странные грезы и видения. То снилось ему, что он строил новые хоромы, перевозился со всем домом в них, но в то время, как он входил в двери, гром ударял в трубу и он в испуге вскакивал с постели; то разные чудовища представлялись ему и дразнили его, указывая пальцами и щелкая зубами; то из-за ширм, сквозь щель, пролежала толстая пьяная старуха; то потолок в комнате рушился. Наконец, действительно, один кирпич, оторвавшийся от трубы неизвестно отчего, упал с такою силою в камин, что разбил наружное зеркало, украшавшее оный. Христианская душа Петра Алексеича вздрогнула! Он вскочил с постели, перекрестился и велел узнать: здорова ли барышня? Между тем, вероятно, чтобы успокоить или рассеять себя, или, может быть, навести сон, бежавший от его очей, он послал за Пантелеичем. Пантелеича разбудили; старичок второпях оделся, снова переправился через двор и, покашливая, вошел в спальню барина.

— Что прикажете, сударь? — сказал он, поклонившись в пояс.

Но барин ничего не отвечал и не спускал глаз с разбитого зеркала. Пантелеич, засунув правую руку за пазуху, стоял

долго в терпеливом ожидании. Наконец барин махнул ему рукою, и он с подобострастием подошел к нему.

— Ты сказочник, умная голова, — сказал Петр Алексеич, — растолкуй мне вот эти причины. Наташа моя красна, как ягодка, — вся в матушку-покойницу, дай ей Бог царствие небесное!

— Точь-в-точь в Авдотью Николавну, нашу милостивую государыню, дай ей Бог вечное блаженство! — примолвил Пантелеич. — И так же добра, и так же у ней коса до земли, даруй ей Царь Небесный много лет здравствовать!

— Ну, слушай же, — сказал барин, — жених у моей Наташи, каких мало: красив собою, здоров, богат, одним словом, все в нем хорошо. На днях он должен возвратиться, потому что война с Турцией кончена; отличий, говорят, в эту войну ему дано много, а приедет сюда, так и под венец. Чего же, кажется, недостает моему счастью? Так нет! я непокоен, я боюсь, сам не знаю чего. Вот уже несколько дней, как у меня после обеда в нижней губе жилка бьется. А сны-то, послушай!

Тут Петр Алексеич подробно и с жаром начал рассказывать все тревожившие его призраки и видения. Пантелеич, потупя глаза, слушал и только изредка покачивал головою, сжимая губы и нахмуря брови. Но когда барин рассказал ему об упавшем кирпиче из трубы и указал на разбитое зеркало в камине, то слезы навернулись на глазах верного слуги, и он, перекрестясь, сотворил про себя молитву.

— Так говори ж мне теперь, что это значит? ведь ты умеешь толковать и сны и разные необыкновенные случаи, — сказал Петр Алексеич.

Но Пантелеич молчал. Барин тщетно просил его; наконец он рассердился и с гневом требовал, чтобы он ему сказал правду, всю правду.

— У вас в доме будет нехорошо, барин; прогневался, видно, Царь Небесный, — сказал дрожащим голосом Пантелеич. Тут Петр Алексеич вскочил с своих кресел.

— Так разве я за тем велел тебя призвать, старый болтун? — вскричал он с яростью. — Пошел вон, пустомеля, пока еще голова цела! — и с этими словами он схватил мало-

рослого старика за воротник и вышвырнул из комнаты.

— Да что же мне ничего не сказали о барышне? Какова барышня? Ну, что ты так стоишь, вытараща глаза, болван! Где барышня?

С этими вопросами обратился он к слуге, стоявшему уже давно у двери.

— Барышня-с? Наталья Петровна-с? — отвечал, запинаясь, слуга.

— Ну да, ротозей, что она? какова?

— Они-с, как видно, изволили выйти прогуляться.

— Что ты врешь? как? прогуляться? в эту пору? ночью? — и Петр Алексеич, в величайшем беспокойстве, пошел сам отыскивать дочь.

Но мы ее найдем прежде его. Наталье Петровне миновало уже 19 лет. Стан Гебеи, густая темно-русовая коса, брови дугами, глаза самой яркой лазури с длинными ресницами, цвет немного бледный, но нежный, уста, нос, одним словом все, от головы до пяток, все было в ней обворожительно. Ах, как она была хороша! Когда мне ее описывал мой старичок-рассказчик, у меня сердце рвалось и трепетало. Теперь уже ее давно нет на свете! Но тогда, как пленительна она была! Вообразите себе такую красавицу в пустыне, в глуши, в Воронежском уезде, среди медведей, а не людей, и вы, верно, пожалеете о ней. Она, однако ж, была счастлива; она нежно любила своего родителя, который и баловал ее без памяти; она была любима всеми служителями дома и поселянами; она была счастлива и в другой любви, уже освященной согласием ее отца; но с тех пор, как ее жених, молодой и прекрасный собою мужчина, Владимир Сергеич Панский, отправился на турецкую войну, задумчивость, тоска и уныние не сходили с ее лица. И днем и ночью она все думала о нем, все боялась за него. Что делать с девичьим сердцем! Бывало, когда девушки, числом около двадцати, сидели в одной комнате с нею, кто за пяльцами, кто за кружевами, и зачинали какую-нибудь веселую песню, например *По улице мостовой*, то Наталья Петровна тотчас заставляла их молчать и сама запевала другую, заунывную; тогда и девушки принимались все тянуть за нею в

один тон, и подымался такой визг, что хоть святых вон вынеси, и самое нечувствительное ухо к музыке было бы растерзано этими звуками, и тоска залегла бы на самом каменном сердце. Наталья Петровна недавно получила от Владимира уведомление. Он ей писал, что он все любит ее по-прежнему, без памяти, что мир с турками заключен и что он скоро прилетит к ней в надежде на счастливейший для него день, на тот день, который соединит их вечно, неразлучно священным обрядом. Он запечатал письмо сердцем, пронзенным стрелою, вокруг коего было написано: *по гроб верно*. Все это утешало нашу героиню; но она была причудницей, пугалась всяких примет, упала бы в обморок, если б при ней рассыпали соль, и верила, что некоторые люди могут сглазить. По сей причине она возненавидела Федора Иваныча Громова, этого новоприезжего соседа, о котором и Филимоныч так неблагоприятно рассуждал. Ей казалось, что черные, большие глаза его, устремленные на нее, пронзали ее насквозь. В первый раз, когда она его увидела в церкви, она испугалась. А чего же было пугаться? Федор Иваныч был прекрасный и преловкий мужчина. Даже, в походке и стане он имел много схожего с Владимиром. После обедни он подошел к Петру Алексеичу, отрекомендовался ему. Тот в нем узнал сына старого своего сослуживца и приятеля, и пригласил сперва на воскресный пирог, потом на обед; потом Федор Иваныч сделался уже почти ежедневным гостем старого секунд-майора. Когда Федор Иваныч говорил о чем-нибудь, то Наталья Петровна забывала свое предубеждение и даже слушала его с удовольствием, потому что у него, во-первых, голос был удивительно похож на голос Владимира, и что, во-вторых, речь его всегда была отборна и красна. Он говорил с жаром и всегда живописно. Это, мне сказывали, нравится женщинам. Но когда, бывало, он молчит и взглянет на нее, то она тотчас отворачивалась с некоторым внутренним содроганием. Женский каприз, да и только! Давно уже по ночам сны Натальи Петровны были беспокойны. С ее верою в приметы это немало тревожило ее и во время бдения. И в эту последнюю ночь опять странные грезы мутили сон прекрасной девицы. На-

пример, она видела, что ее обували в новые башмаки (верный признак свадьбы); но потом видела, что мужчина надевал ей силою узкий башмак на ногу, отчего ей становилось больно, и она вскрикивала, и тогда подымался перед нею, улыбаясь, Федор Иваныч. С испугу она просыпалась и, когда замыкала глаза, то снова страшные видения показывались, и она опять вздрагивала и просыпалась. Наконец представился ей сон более приятный. Она видела пред собою Владимира, в гусарском мундире, прекрасного, румяного, который ее уговаривал пойти теперь же в сад: там у каменной, низенькой ограды, над Доном, он ее увидит и поцелует.... Теперь она уже проснулась от радости; заснула снова, и опять тот же сон! И три раза ей то же виделось! Наталья Петровна имела воображение пылкое, более южное, нежели северное. Она была причудницей, как я уже выше сказал; была робка, боязлива, и с этим вместе способна на самые важные предприятия. Два раза она было хотела встать с постели; но девичья робость преодолела. Наконец, зажмуря глаза (ибо комната была освещена лампадою перед образами), она подняла руки врознь, стараясь потом свести два указательных пальца; но два указательных пальца разошлись далеко один от другого. Наталья Петровна полежала немного, потом потихоньку привстала, обулась, оделась, накинула сверху белую утреннюю кофточку, прошла на цыпочках мимо старой своей няни Аксиньи, которая храпела сном праведных, с такою же осторожностью прошла и в другой комнате, где спало несколько девушек и из которой был спуск в сад. Она подошла к стеклянным дверям, посмотрела на небо: луна пленительная! несколько облаков ходило по небу, но лазурь его была самая чистая, самая тонкая; такой лазури мы здесь не видим на севере! Она поглядела на высокие деревья, стоявшие, как ночные стражи, на аллею: ей показалось темно, страшно; сердце в ней забилось крепко. Наконец, она повернула ключ, взялась за замок, отворила тихонько дверь, перешагнула и затворила опять. А спящие девушки ничего не слышали! да и может ли что-нибудь разбудить спящих горничных?

Теперь позвольте обратить ваше внимание на другие, доселе вам мало известные лица. Мне самому жаль оставить нашу милую барышню одну, в саду, ночью. Да что же делать? надобно! Итак, слушайте. В этот день Федор Иваныч, пугалище Натальи Петровны и Филимоныча, засиделся у нашего помещика долее обыкновенного. Он поутру ездил рекомендоваться к наместнику, жившему в своей жалованной даче, верстах в 15 от села Петра Алексеича, и оттуда подоспел к обеду радушного и гостеприимного секунд-майора. Он совершенно обворожил старика своими рассказами и прибасенками и, по настоятельной просьбе хозяина, остался с ним почти до 11 часов вечера. Вы, верно, помните, что главнейший упрек ему, деланный Филимонычем, состоял в том, что он часто и долго разговаривал с коновалом Еремеем. И это была правда; но надобно же вам сказать, что свело его с ним. Федор Иваныч Громов, как я уже выше сказал, был статен, красив, ловок, с черными, как смоль, глазами; служил прежде в гусарском полку, следовательно, бывал отчаянным повесою, и с наружными качествами, данными ему природою, нравился многим женщинам и имел многие приключения, в которых позавидовали бы ему теперешние Ловеласы. Но что и говорить! Тогда были смелее, ловчее нашего; а теперешняя молодежь, и посмотреть-то на нее, так что в ней? Итак, Федор Иваныч уже привык побеждать дамские сердца. Тем оскорбительнее для его самолюбия было столь заметное отвращение к нему Натальи Петровны. В первый раз, как он ее увидел в церкви, она ему понравилась; с тех пор он стал часто навещать ее отца, и чем менее он производил на нес влияния, тем более раздражалась его гордость. Наконец, это чувство, по всем психологическим переходам, обратилось в страсть самую пылкую, самую безутешную. Когда он бывал один, он рвал на себе волосы, топал в бешенстве ногами, богохульничал и кощунствовал. Такова была несчастная любовь отставного гусара! И что могло его рассеять в деревне? В карты и зерны не с кем было играть; театров и общества не было. Занятия? Но разве одна трубка, и та даже не могла его рассеять. Во первые времена своего знакомства с Фаддеевым, когда страсть

уже начинала понемногу в нем разгораться, переходя пешком и в задумчивости хворостовый мост, перекинутый через Дон в селе Петра Алексеича, он почувствовал, что его кто-то сзади толкнул рукою; он обернулся и увидел перед собою старика, с волосами и длинною бородою, как лунь, седыми, в широком армяке из серой китайки, подпоясанного ремнем, и в сапогах. По одежде тотчас можно было узнать, что это дворовый человек.

— Что тебе надобно? — спросил Громов полурассеянно.

— Мне, сударь? мне-то ничего не надобно, — отвечал старик насмешливо и потирая себе усы, — но вам-то жить приходится плохо, очень плохо. Вишь, каким вы сентябрем идете.

— А тебе кто это сказал, старый хрен! — прервал его с досадою Громов.

— Кто? да никто. Эка невидальщина! Не знаю я вас, молодых людей! Мало живу на свете. Вот уже слишком семьдесят годков, как по нем таскаюсь. А вы-то, барин, молоды, хороши собою, сокол настоящий; ну жаль вас, право, жаль!

— Вот тебе у черта не просил жалости, — отвечал ему с гневом Громов, — отстань от меня, седая голова, или я тебе задам такого туза, что ты разве на том свете пробудишься.

Старик захохотал громко, отойдя от взбешенного молодого человека; последний, как увидел, что его угрозы возбудили только смех, кинулся было на него с поднятою рукою. Старик нисколько не изменился, но сильною мышцею удержал руку Громова.

— И, полно, барин, сердиться! — сказал он ему прежним насмешливым тоном. — Признайся-ка лучше, ведь барышня наша хороша, а? что, не правда ли, хороша?

Громов весь вспыхнул; он не знал, что отвечать; он не понимал, как старик, которого он никогда не видывал, мог угадать его тайну; он удивлялся также силе, с коею он остановил его удар, и чувствовал еще отпечатки пальцев, сжавших его правую руку.

— Да скажи мне, кто ты? — произнес он наконец с удивлением. — Черт, что ли? Кто тебе сказал, что я люблю...? Да что с тобою говорить? врешь, старый сумасброд! — и Громов

быстрыми шагами и в сильном волнении пошел от него.

— Постой, постой, барин! — кричал ему вслед старик.

— Постой, не то будешь сам после каяться.

Громов обернулся.

— Я не черт или, по крайней мере, не сущий черт, — продолжал старик, — а коновал при конном заводе его высокоблагородия Петра Алексеича. Зовут меня Еремеем. В селе нашем многие почитают меня колдуном, а это оттого, что я их умнее. Я знаю, барин, зачем ты к нам так часто стал жаловать. Я это угадал. Что же ты покраснел? Ну, ведь барышня наша настоящая малина! Да вы, молодые люди, не послушаетесь советов старика. А мы кое в чем могли бы и услужить. Прощайте, барин!

Старик, кивнув головою, обернулся и пошел назад. Громов побежал за ним и остановил его за руку.

— В чем, как можешь ты мне услужить? — спросил он его торопливо. — Ну, говори же!

Но Еремей махнул рукою.

— Нет, барин, — сказал он, — я старый сумасброд, ты меня одним тузом отправишь на тот свет к Иуде на поклон; где мне? что могу я?

Громов просил его, предлагал ему деньги, но все было тщетно; Еремей объявил ему только, что он, может быть, когда-нибудь откроет ему средство, коим он успокоит свою страсть.

С тех пор всякий раз, как Громов приезжал в деревню Петра Алексеича, Еремей всегда, как будто ненарочно, встречался ему и всегда начинались опять просьбы с одной стороны, те же отказы с другой, и опять кончалось тем, что Еремей советовал Громову подождать и обещал ему со временем открыть тайну. Накануне этого дня Еремей уже сказал, что время приближается, что Громову должно вооружиться мужеством, отвагою; но что он недаром молодец. Он ему указал на свою избу, и просил его когда-нибудь почтить своим посещением.

В этот вечер или, лучше сказать, в эту ночь, Громов, распростившись с Петром Алексеичем, сошел с возвышения, на коем стоял барский дом, повернул вправо и переправил-

ся пешком через мост. Он всегда оставлял свою коляску на конном заводе, расположенном по той стороне Дона, почти против барских хором, и в этот раз так же сделал. Действительно, до сих пор, в этих отдаленных деревнях, опасно переезжать в тяжелых экипажах тамошние мосты, шаткие, узкие, из хвороста и сверху засыпанные соломою. Проходя мимо избы Еремея, стоявшей возле завода и от ветхости кланявшейся в пояс прохожим, он увидел в ней огонь; подошел к дверям и услышал два голоса, разговаривавшие между собою: один был голос Еремея, другой же незнаком Громову. Он вошел в избу, состоявшую из одной только низкой и почернелой от дыма комнаты. Еремей стоял один посреди.

— Здорово, старик, — сказал Громов. — Хоть и поздно, но я увидел, что у тебя еще есть огонь и не хотел пройти мимо, не навестив тебя. Да с кем же ты изволил так разговаривать? Странно, ты один, а мне послышались два голоса!

Еремей вдруг покраснел, смутился, но тотчас опять оправился.

— И, нет-с, барин, вам это почудилось. Я один про себя кое-что бормотал, молился.... Да как же я рад вашей чести! Прошу покорно садиться; чем мне угостить ваше благородие?

— И, что за угощение в эту пору! — прервал его Громов. — Не угощения мне нужны, а ты знаешь что. Ну, говори мне хоть теперь. Ведь я тебе уже сказал, что я на все согласюсь!

— Полно, барин, на все ли? подумайте! — сказал с усмешкою Еремей и серые глаза его засверкали.

— Тьфу, черт возьми! что тут думать? — отвечал отставной гусар. — Чего я побоюсь? Я уже прошел через огонь и воду. Так говори же наконец, неутомонный старик!

Но Еремей опять стал отнекиваться и запинаться. Более часу Громов тщетно его уговаривал; наконец он бросил перед ним на дубовый стол наполненный кошелек.

— Или ты думаешь, что я не сдержу слова? — сказал он с досадою. — Так на же, съешь их наперед, коли хочешь, и тогда почуеть, что они из чистого золота.

При сем Громов указал Еремею на червонцы, высыпавшиеся из кошелька. Еремей захохотал и оттолкнул деньги рукою.

— Возьмите их назад, сударь, возьмите: мне не это надобно, — произнес он грубым голосом. — Что мне надобно, то дороже золота, того вы не купите золотом, хотя у вас, господа, в разговоре и ведется, что покупаете и продаете кто сто *душ*, кто пятьсот.

Сии последние слова привели Громова в содрогание.

— Нет, сват, — примолвил он, — ты, видно, хочешь, чтобы я продал тебе свою душу? Чур, наше место свято! а с тобою связываться плохо!

Тут он отворил двери и вышел из избы; но Еремей вслед за ним кричал ему, посмеиваясь:

— А барышня-то, барышня-то! ведь хороша, право, недурна! кусочек хоть куда! а? что вы скажете?

Громов обернулся, подошел опять к Еремею, схватил его с силою за руку и в величайшем волнении произнес:

— Сатана! Умеешь, чем заманивать; так покажи мне ее, покажи! слышишь ли? Я на все покамест согласен.

— Эх вы как было трусили! Ну, признаюсь, я думал, что вы похрабрее, — ворчал Еремей; и с этими словами, он повел Громова по широкому луку, расстилавшемуся вдоль берега реки. Они шли молча; иногда ветерок развевал седую, длинную бороду Еремея, и при свете месяца, озарявшего его бледное лицо, он походил на привидение. У Громова дрожали жилки, не знаю от чего, от страха или страсти. Они достигли небольшого возвышения, против коего на противоположном берегу реки стоял на высокой горе барский дом. Два ряда высоких лип, как рамы, с обеих сторон спускались несколькими уступами до низенькой каменной ограды, о которую разбивались волны широкого Дона. Густая и темная зелень сада, блиставшая от лучей месяца, кровля дома, вершина колокольни, показывавшаяся сзади; с правой стороны, под горою, село, расположенное живописно; кругом черная полоса лесов, замыкавших горизонт, и река, величественный Дон, протекавший важно, тихо, струями серебряными и золотыми — о, это картина очарователь-

ная! Еремей указал своему товарищу на два окна, слабо освещенные лампадою.

— Это опочивальня барышни, — сказал он насмешливо. — Да что же ты так замолк, барин? — продолжал он, обратившись к Громову, который стоял, как вкопанный, глядел на освещенные окна и, казалось, ничего не слышал.

— Полно, барин! Ну, похож ли ты на отставного гусара? Выпей-ка немного вот этого! это придаст тебе духу.

Он вынул из-за пазухи фляжку и подал ее товарищу.

— Что это такое? — спросил у него Громов.

— Пей только на здоровье, — отвечал ему старик, — не беспокойся о прочем.

Громов взял фляжку и разом выпил ее всю. Напиток был горячий, но он не мог его узнать, хоть в гусарах и привык всякую тянуть.

— Что, теперь тебе лучше, барин? — спросил его Еремей.

— Лучше, гораздо лучше, — отвечал разгоряченный Громов. — Ну, зачем же ты меня сюда привел? Говори же мне твою тайну, старый черт! или я тебя в сей же миг задушу своими руками.

— Тут слов никаких не надобно, сударь, и тайн никаких нет, — произнес хладнокровно Еремей. — Подпишите только вот эту бумажку: на дворе ведь светло.

Еремей вынул из-за пазухи бумагу и перо и подал их Громову.

— Ну, черт возьми, уж так и быть, — сказал последний. — Уже решился раз, так давай подчеркну, и сам не зная что! Да чем же мне писать? чернил-то ты и не взял.

— Ахти! забыл чернила! — вскрикнул фальшиво Еремей. — Ну, так и быть! чем время тратить: отставной гусар не боится крови; кольните себя и подпишите вашей кровью.

Громов вынул из кармана ножичек, проколол себе на левой руке кожу до крови и подписался. Еремей с поспешностью схватил бумагу.

— Ну, теперь ладно, — сказал он и захохотал.

Громов вздрогнул и хотел было у него вырвать бумагу, но старик указал ему пальцем на противоположный берег.

Тот обернулся, и что же он увидел? Стеклопанная дверь господского дома отворилась, и вышла девушка в белой, легкой одежде, с платочком, накинутым на голову и подвязанным снизу. Громов был очарован, в восторге, он смотрел и не верил глазам. Так! это точно была Наталья! Она робко озиралась во все стороны; казалось, была в нерешимости, идти ли далее или возвратиться домой; наконец она тихо, прислушиваясь и вздрагивая иногда, спустилась с первой террасы и шла таким образом далее, все спускаясь и направляясь прямо к ограде. Громов был вне себя; он стрелою спустился с возвышения, направляя свой бег к мосту; но старик, видимо, был еще так же легок на ногах; он вмиг его догнал и остановил за руку.

— Постоите, барин, куда вы? Эка молодежь! так и дрожит весь! Ведь барышни-то любят военных, а я слышал, как вы давеча приказывали вашему кучеру хорошенько уложить в коляску мундир, в котором вы представлялись наместнику. Послушайте совета старика.

В один миг они были на конном дворе, и Громов накинул на себя гусарский мундир, с коим он был отставлен от службы. Между тем, он приказал кучеру своему быть готовым к отъезду. Шибко побежал он потом к мосту и перебежал его с такою же быстротою, несмотря на опасность, ибо неровно разостланый хворост на каждом шагу мог его задеть за ногу и опрокинуть в воду. Громов удивлялся, однако ж, что старик нисколько не отставал от него. Они таким образом вмиг очутились у деревянного забора сада. Громов более перепрыгнул, нежели перелез через него, но и Еремей был в одно же время на другой стороне. Огромная меделянская собака садовника, спущенная на ночь с цепи, кинулась было на них; но вдруг она поджала хвост, как бы испугавшись чего-нибудь, и удалилась с визгом. Громов без памяти бежал сквозь чащу в темноте; наконец выбежал на среднюю аллею и остановился на последнем уступе, как вкопанный. Наталья стояла, облокотившись на каменную ограду; она глядела на небо, может быть, на месяц, озарявший красы ее. Как пленительна она была в эту минуту! В простой, белой одежде, накинутаю небрежно, с платочком,

подвязанным на голове, из-под коего выкрадывались прекрасные темно-русые локоны, расстилавшиеся по плечам, с голубыми, томными, поднятыми глазами, с станом гибким, стройным, как пальма, ночью, над рекою, в саду, в самом живописном местоположении.... ну, прелесть, прелесть! Она казалась каким-то видением, ангелом, слетевшим с неба для утешения смертных. Громов стоял, не смея пошевелиться, дохнуть; он был вне себя. Но месяц вдруг спрятался, и сделалось темно. В листьях послышался шорох. Молодая девушка вздрогнула, поглядела — и увидела возле себя блиставший в темноте мундир.

— Владимир! — вскричала она с живостью. — Так, меня не обманул сон! — и она кинулась в объятия гусара.

Не стану описывать горячих лобзаний, их восторга, их упоения, молений Натальи, ее слез, ее блаженства, ее рая, — увы, слишком скоротечного! Вы ее, верно, браните, и я согласен, что она поступила неосторожно. Но не укоряйте более бедной девушки: она и без того много страдала, много, и за одну только минуту счастья! А любовь? любовь ее была так пламенна! И к чему не побудить любовь? Бедняжка! как страшно будет ее пробуждение! Вот уже месяц понемногу выказывается из-за облака, вот он и весь выкатился и лучи его упали на счастливейшую в то время чету в мире, и лицо Громова осветилось ими ярко. Наталья узнала его и вскрикнула самым ужасным образом. В то же время раздался между деревьями злобный хохот, и с другой стороны послышался голос Петра Алексеича, громко звавшего свою дочь по всему саду. Громов убежал, и старый секунд-майор в сопровождении многих людей, служителей и служанок, в том числе и старухи-няни Аксиньи, нашел свою дочь, лежавшую без чувств возле ограды. Каково было положение отца! Пожалейте о нем. Наталью Петровну подняли, понесли в ее комнату, положили на постель и стали оттирать и отпрыскивать. Между тем, гроза пала на няню и на прочих горничных за их непробудный сон: уж досталось им! Барышня через несколько времени очнулась; но у нее был сильный жар, и вскоре сделался бред, который продолжался во всю ночь. Послали за лекарем; он прие-

хал утром рано и нашел больную еще в бреду. Он объявил, что у нее горячка и что она, вероятно, в сильном пароксизме выбежала ночью в сад. Между тем, он составил ей лекарства, велел за нею строго смотреть и сказал отцу в утешение, что он еще не лишается надежды вылечить его дочь.

В это же утро барина известили, что Еремей, переезжая через мост, упал вместе с лошадыю и телегой в реку и что его никак не могли спасти, даже не нашли его тела, а лошадь и телегу вытащили. Петр Алексеич пожалел о нем: он был отличный коновал.

На другой день приехал и Владимир Сергеич Панский, жених Натальи Петровны; но лекарь, опасаясь для больной всякого сильного ощущения, не велел ей о том сказывать; и молодой влюбленный гусар принужден был не показываться своей невесте, хотя и жил с нею в одном доме. Во всю свою болезнь Наталья Петровна, однако ж, ни разу не спрашивала о нем, и это несколько удивляло Петра Алексеича. Через несколько дней барышня почувствовала себя лучше. Обрадованный секунд-майор уже стал было заговаривать с нею о близкой свадьбе, чтобы завести речь о женихе и приготовить ее к известию о приезде Владимира; но она, казалось, не внимала его словам.

— Жаль, очень жаль, — сказал секунд-майор, — что Федор Иваныч не будет на твоей свадьбе!

Наталья Петровна вздрогнула, но пересилила себя и как бы равнодушно, не дав заметить свое смущение, спросила отца: отчего он не будет?

— Да оттого, мой друг, что бедняжки нет на свете. Намеднись, когда он отъезжал поздно от нас, лошади понесли его с горы близ Лебяжьего; коляска подвернулась; он упал головою об межевой камень, и тут же дух вон.

Наталья Петровна вся помертвела; вдруг, откуда ни взялись силы, она вскочила с постели, побежала в другую комнату, к стеклянным дверям, в сад, и стрелою спустилась вниз по аллее. Это все было так скоро, что старик не успел позвать на помощь, как уже молодая девушка была на половине аллеи. Но из другой комнаты в то же время пустился за нею без памяти молодой офицер и достиг ее тог-

да, как она, вспрыгнув на каменную ограду, хотела с нее броситься в глубокую реку. Он сзади ее ухватил и понес назад. Если б она обернулась, то узнала бы Владимира. Старик стоял у стеклянных дверей, рыдал и крестился. Дочь его внесли; он кинулся ей на шею, заплакал и, всхлипывая, просил у нее прощения.

— Друг мой! Наташа! Друг мой бесценный! сокровище мое! прости мне! Я испугал тебя.

Но она вырвалась из его объятий.

— Батюшка! — произнесла она в ужаснейшем волнении, — батюшка! не вы виноваты! Так, Громов наказан Богом. Батюшка! знайте!..

Тут она кинулась отцу в ноги, обнимала их, целовала и металась во все стороны.

— Виновата! — вскричала она рыдающим голосом. — Виновата, батюшка! я вдова Громова! Так... намедни... в эту ночь... обман... изверг!.. о, это ужасно!..

Она более ничего не могла произнести, ибо лежала без чувств. Отец стоял, как окаменелый: страшная тайна ему была открыта. Он весь побагровел; его под руки вывели из этой комнаты. Весь день он был, как истукан; он ничего не говорил, ничего не видел, ничего не слышал и, казалось, ничего не думал. К вечеру внезапно смертная бледность покрыла его лицо; он упал; с ним сделался удар, и в следующее утро он уже лежал среди залы в гробе на столе, а в его изголовье, пред образом, стоял Филимоныч, читая псалтырь и изредка утирая клетчатými платком крупные слезы, падавшие на книгу. У Натальи Петровны жар снова усилился; но молодость опять свое взяла, и чрез несколько дней ей опять стало лучше, так что она уже могла вставать с постели. Однажды утром лекарь приехал навестить выздоравливавшую; но в комнате ее ничего не было. Пошли искать по всему дому, по всему саду, по всему селу, и нигде не нашли. Никто не знал, куда она скрылась, и с тех пор никто не видал в этом доме Натальи Петровны. Через год, в самый день кончины Петра Алексеича, во время обедни, пришла, неизвестно откуда, усталая и изнуренная страданием инокиня. Лицо ее было закрыто. Она молилась с самым трого-

тельным усердием, и после обедни заказала панихиду за упокой души боярина Петра. Долго обнимала она с рыданием надгробный камень отставного секунд-майора. Наконец она поклонилась в землю, помолилась на церковь, потом обернулась к барским хоромам, долго глядела на них, поклонилась им и удалилась. С тех пор она уже не возвращалась в это село.

С женихом Натальи Петровны я не знаю, что было после. Я забыл про него спросить.

— Кому же досталось имение покойного Петра Алексеича Фаддеева?

— А наследников разве мало на свете? Наследства-то редки, а наследники у всякого и везде найдутся.

Мой старичок-рассказчик не раз прерывал свою повесть тяжкими вздохами, жмурился и хлопал глазами, как будто плакал, и даже утирал слезы своим кафтаном из серого толстого сукна. Но я не верил его рассказу. «Это все пустое», — думал я. Не правда ли, и вы то же скажете?

Фаддей Булгарин

КАБАЛИСТИК

Предисловие

Вообще жалуются на журналистов, что они много обещают, а мало дают. Эй, полно! Одни ли журналисты поступают таким образом! Как бы то ни было, но я беру на себя ответственность за всех своих собратий и теперь же намерен заплатить весь наш общий долг. Если вам казалось, любезные читатели, что журналы не удовлетворяют вашим ожиданиям, то вот я одним разом удовлетворю вас за прошлое и будущее. Я открою вам тайну, за которой гонялись все мудрецы древности и все современные глупцы, тайну, скрывавшуюся некогда в подземельях египетских храмов, в книгах Сивиллы и под треножником храма Дельфийского, а ныне кроющуюся в кофейных и в колоде карт. Вы догадываетесь, что я хочу вам открыть средство *знать будущее*? Точно так. Довольны ли вы? Раздумайте хорошенько. Я уверен, что многие будут весьма довольны. Вообразите, что за радость знать, когда именно старый и ревнивый муж возвратится домой; знать, когда преполнится чаша мздовоздания и придет сладостное время блаженствовать *в отставке под судом**; знать, что станется с нами, с нашей женой, детьми, родными, приятелями; какой конец примут наши дела и начинания; знать, какая будет погода и, читая газеты, разгадывать все запутанности политики. А если вам угодно будет позабавиться, то вы можете знать все сплетни и все домашние тайны всех ваших знакомых. Вот какую тайну открою я вам, любезные читатели, но только *с условием и не даром*. Вы знаете, что кроме напасти и клеветы, ничто в свете не проходит даром. Вы должны прежде выслушать одно из моих походов, и если после этого захотите знать будущее, прошу известить меня. Тайна будет объявлена немедленно. Итак, просим прислушать.

* Бессмертный, характеристический стих покойного А. Е. Измайлова, живой отрывок современной истории: «блаженствует в отставке, под судом» (Прим. авт.).

Отрывок из памятных записок

В полку нашем служил поручиком князь Иван Н., прекрасный молодой человек, с доброй душой, с умом пылким и образованным. Мы были друзьями. Семейный процесс и предполагаемая женитьба призывали его в Петербург. Меня манила туда любовь. Отправившись в отпуск, мы поехали вместе, на почтовых, в экипаже князя.

Содержатели почтовых станций в остзейских провинциях подчинили безусловно своей воле проезжающих по собственной надобности. Станционный смотритель или хозяин подают вам с улыбкой *черную книгу*, если вам вздумается излить гнев ваш в жалобах; а если вам захочется погорячиться на словах, то они закурят трубку, прождут хладнокровно ваш пароксизм и, наконец, поставят на своем. Таким образом, невзирая на наши уверения, что коляска наша легка, что дорога впереди хороша, хозяин станции велел впрячь шестерку лошадей и не согласился дать нам форейтора. Поставленный по наряду с мызы работник на станцию, произведенный накануне из пастухов в ямщики, коекак взобрался на козлы, взял в одну руку вожжи от шести лошадей, махнул длинным бичом, и лошади пошли с места рысцой.

До половины дороги ямщик должен был понукать лошадей, но, когда пришло спускаться с крутой горы, то им вздумалось потешиться и поскакать. Передние лошади запутались в стромках и остановились; но накатившаяся коляска ударила дышловых, те дернули в сторону; передние, испугавшись, бросились в другую; ямщик кинул вожжи и соскочил с козел, и, в одну секунду, коляска наша попала в ров, опрокинулась на всем конском скаку, и мы вылетели из нее, как пробка из шампанских бутылок.

Я уткнулся головой в песок и чуть не сломил шею, а мой товарищ, князь, ударился о камень, повредил кисть правой руки и больно зашиб ногу.

Опомнившись, я бросился помогать ему, но не имел никаких к тому средств в чистом поле. Слуга наш также боль-

но ушибся и едва мог стоять на ногах. Я хотел отпрячь лошадь и скакать в ближнее селение, чтоб перевезти князя на телеге на станцию, как вдруг показался из-за горы экипаж. В прекрасном ландо, запряженном четырьмя отличными лошадьми, сидела дама с двумя детьми и с молодым человеком, гувернером, как после оказалось.

Увидев нашу коляску во рву, дама приказала своему кучеру остановиться и вышла из своего экипажа. Едва я успел ей объяснить наше происшествие, она велела своим людям положить князя бережно в свой экипаж, села рядом, оставила детей с гувернером при мне и уехала на свою мызу, прося меня подождать несколько. Через полчаса тот же экипаж возвратился за нами, а за нашей коляской прислали лошадей.

Проехав с версту по большой дороге, мы своротили в сторону, и через несколько минут очутились у ворот великоколесной и обширной мызы.

Я нашел князя в постели и уже перевязанного. Домашний доктор сидел у изголовья его постели и приготавливал питье. Больной требовал успокоения; мне отвели особую комнату.

Через час меня позвали к чаю. В зале встретил меня хозяин дома, барон N. N., муж той прекрасной дамы, которая так великодушно предложила нам помощь и гостеприимство. Меня подрало морозом по коже, когда я взглянул на него. Он был лет сорока пяти, высокий, тощий, бледный, с прозрачными неподвижными глазами, с пасмурной физиономией. Взгляд его обдавал холодом; слова, которые он произносил, будто выходили из ледяного погребца. Улыбка, по-видимому, никогда не оживляла лица его. Приняв равнодушно изъявление моей благодарности, он предложил мне место возле жены своей и, сев в кресла, опустил голову на грудь и задумался.

Несколько раз любезная хозяйка старалась вмешать его в общий разговор, чтобы рассеять его задумчивость, но ответы его всегда были коротки и односложны. Ни ласки детей, ни внимание жены, ни присутствие гостя не могли извлечь его из мрачной задумчивости и согреть душу. Он

был как мраморный.

Выздоровление князя шло медленно, а между тем, я подружился со всеми в доме и приобрел благосклонность доброй нашей хозяйки. В две недели я не заметил, чтобы барон хотя однажды улыбнулся или обратил на что-либо внимание. Он ел, пил, ходил, говорил, как машина, как автомат. Я душевно сожалел о доброй, умной и миловидной баронессе, осужденной влачить печальную жизнь с этим трупом; сожалел о милых детях, лишенных отцовских ласк и нежности.

Я пытался расспросить доктора и гувернера о причине этой мрачной меланхолии, которой одержим был барон, слывший, впрочем, человеком умным, сострадательным и благодетельным. Доктор и гувернер пожимали плечами и молчали.

Однажды я осмелился даже спросить баронессу. Она заплакала и не отвечала. Барон появлялся в семье своей тогда только, когда она собиралась к обеду и к ужину, и все время проводил в уединении: или запершись в своей комнате, или бродя по саду, по парку и по полям.

В доме все означало порядок, довольство и благосостояние. Казалось, все были счастливы, кроме хозяина и хозяйки, терзавшейся страданиями мужа.

Наконец, здоровье князя поправилось. Он мог уже выходить из комнаты, и мы стали собираться в путь. Доктор советовал князю остаться еще на несколько дней, пока пройдет опухоль, и сам хозяин упросил князя не торопиться.

Накануне нашего отъезда мы прогуливались с князем в парке. Ночь была тихая и теплая. Мы сели на скамью в беседке из акаций, и стали разговаривать о наших делах, планах и надеждах в будущем.

Князь был склонен к мечтательности. Изложив предмною все свои сомнения, все опасения и все надежды насчет будущей своей участи, он сказал:

— Я бы дал десять лет жизни, чтобы прозреть в будущее, чтобы узнать, что ожидает меня впереди и чем кончатся все мои предприятия. Если я выиграю процесс — я буду богат; если женюсь по выбору моей матери и моему собст-

венному — буду вдвое богаче и притом счастлив... тогда я вступлю на дипломатическое поприще или поселюсь в столице и стану жить для наук, искусств... Как жаль, что в наше время нет ни астрологов, ни прорицателей! Я бы отдал половину имения, чтобы узнать будущее...

Вдруг листья зашевелились и пред ним предстал барон, как привидение. Мы так были поражены внезапным его появлением, что не тронулись с места, смотрели на него с каким-то страхом и не могли произнести ни слова.

— Вы хотите знать будущее, князь! — сказал барон.— Да избавит вас Бог от этого! Это величайшее несчастье, какое только может постигнуть человека, потому что познание будущего лишает его единственных благ в жизни: мечтаний и надежд. Я знаю будущее и отдал бы три четверти жизни и все мое имение, чтобы не знать его!..

Мы с удивлением посмотрели друг на друга и на барона, который стоял перед нами неподвижно, устремив взор на небо. Слезы катились по бледному его лицу. Из груди вырывались тяжкие вздохи. Он сел между нами и сказал:

— Выслушайте несчастную мою историю и да послужит она вам уроком!

Три года пред сим я был счастливейшим человеком в мире: здоров, богат, чист совестью, муж милой и доброй жены, отец прелестных и умных деток... Избыток счастья мучил меня и заставлял искать того, что мне было не нужно. Я любил магические гадания и изыскания. Случай свел меня с одним жидом, который постиг древнюю кабалистику и смотрел в будущее, как в зеркало. Он умер в моем доме и при дверях гроба открыл мне свою тайну. Я только однажды заглянул в будущее, и с тех пор счастье мое рушилось навеки!

Вы, верно, удивлялись холодности моей с женой и детьми. Могу ли я быть иначе с ними, когда я знаю, что чрез два года она изменит мне, оставит детей и уйдет с любовником! Могу ли наслаждаться невинными ласками детей, когда знаю, что один из сыновей моих кончит жизнь на виселице, другой промотает все мое наследие и с отчаяния бросится в пучину разврата. Может ли радовать меня что-либо в доме,

когда я знаю, что чрез сто лет здесь не останется камня на камне. На самом этом месте будет жестокое сражение. Дом мой, оранжереи будут разбиты ядрами и сожжены, сад и парк вырублены, и чрез десять лет после того место это зарастет травой и заглохнет. Желая спасти имя мое от забвения и поношения, я хотел было броситься в авторство, в котором имел бы успех; но к чему бы все это послужило, когда чрез пятьсот лет должен произойти переворот во всех планетах солнечной системы, и все наши дела будут погребены в забвении, как после потопа!

Пятьсот, тысяча, сто тысяч лет — менее, нежели одно мгновение в сравнении с вечностью!.. На что я ни взгляну, во всем я вижу только тление и разрушение, вижу зародыши смерти, преступления, забвения, несчастия, страданий. Наслаждения и радости мелькают, как перелетные искры в мраке. Будущее есть мрачная бездна, которая поглощает и века, и минуты, и существенное, и умственное, перед которым прошлое есть то же, что нуль перед цифрой: *ничто!* Итак, стоит ли жить, стоит ли мыслить...

Барон хотел продолжать, но вдруг подоспел доктор и почти насильно утащил его домой. Мы остались на месте, как громом пораженные, и возвратились в наши комнаты, в безмолвии раздумывая о слышанном. Доктор навестил нас.

— Теперь вы можете разгадать причину меланхолии барона, — сказал он. — Сегодня на него нашел пароксизм. Он... — Доктор замолчал и только провел пальцем кружок на своем лбу. Мы догадались: барон помешался в разуме.

Барон помешан. Но кто бы не помешался в уме, если б ему в самом деле открылось будущее и если б он видел впереди последствия надежд своих и ожиданий; если б на лице милых сердцу он читал будущие бедствия и страдания и если б мир представлялся ему кучей будущих развалин?

Князь раскаялся в своем желании знать будущее, и я уверен, что каждый, кто только захочет подумать об этом, сознается, что жизнь наша только и усладительна *ожиданиями* и *надеждами* и что существенность хороша только в *воспоминаниях*.

На другое утро мы уехали, не видав барона. Он лежал больной в постели.

Если кто-нибудь из читателей захочет после этого знать будущее, я ворочусь к барону, узнаю от него кабалистическую тайну и передам ее, не прикасаясь к ней.

Жду ответа.

Николай Тихорский
ЧЕРНОКНИЖНИК
Повесть

Говорили, что в этом лесу... издавна жил и царствовал один злой волшебник или чародей, кум и друг адского Вельзевула...

Карамзин

I

В одной комнате Вороньего терема, слабо освещенной сквозь раскрашенные стекла, у открытого окна сидел старик Ганка; из этого окна видны были обширные поля его владений; вдали, на конце горизонта, возвышались горы, покрытые мрачным, непроходимым лесом. Часто взоры Ганки останавливались на этом лесе или на дороге, терявшейся в отдаленности. Осень давно уже наступила; инде пожелтевшие листья деревьев придавали еще более живописности лесам. Погода была прекрасная, и светлое утро делало большую противоположность его мрачной комнате. Как тихая погода, была покойна жизнь Ганки; но мысли его теперь были так мрачны, как своды его жилища. С легким шумом и скрипом, подобно стону умирающего, открылась дверь кабинета, и его дочь, прелестная, как добродетель и невинность, вошла в комнату; тихо подкралась она к старику и поцеловала его в лоб; Ганка оборотился, улыбка мелькнула между бороды и усов, он пожал ее руку и посадил возле себя.

— Вы меня звали, батюшка? — спросила она.

— Да, дочь моя, — завтра наступит для тебя важный день; то есть, завтра придет твой жених.

— Завтра придет Арсеньев? неужели, батюшка? вы шутите!

— О, нет, нет! не говори мне об этом еретике, неблагодарном; я воспитывал его, как сына; он презрел наши обыкновения и уехал к немцам учиться их затеям. Я говорю об Юме — то есть, он твой жених; то есть, понимаешь ли?...

— Этот отчаянный старик, который только и говорит о войне и собаках!

— То есть, ты должна об нем говорить с почтением; я того хочу.

— Но, батюшка...

— Я не люблю, чтобы со мной спорили. Ступай в свою комнату и приготовляйся к завтрашнему дню.

Маша встала, слезы показались у нее па глазах, и она вышла.

— Все пройдет, — пробормотал Ганка. — Юм человек благородный, честный, то есть пренебрегает заморщиною; богат, степенен: чего же ей? Но...

Тут он взглянул на лес, поспешно встал и начал ходить по комнате.

— Эй! Григорий! — слуга вошел.

— Скажи, пожалуйста: точно ли угадывает будущее, то есть, что будет с нами, — колдун, живущий в лесу, который там синеется?

— Что и говорить, сударь! не только угадывает, но даже показывает...

— Показывает! что?

— Он вам покажет людей, которые за морем.

— Как?

— Я слышал от горничной нашей барышни, что Марья Петровна, бывши у него, видела Арсеньева.

— Арсеньева! то есть — то есть — моего воспитанника?

— Да, — да!

— То есть — это плохо. Не знаешь ли ты к нему дороги?

— Как не знать! Стоит войти в лес, попасть к Красной горе, а там можно дойти по берегу речки.

— Смотри же, ввечеру; но не делает ли он какого вреда людям, то есть, не опасно ли?

— Вовсе нет.

— Смотри же, молчи, никому ни слова, то есть, чтобы никто не знал; а между тем, я прочту добрую проповедь дочери, то есть — можно ли брать на душу такой грех, то есть, водиться с чернокнижником!

Ночь наступила, темная (как всегда бывает осенью). Мо-

лодой путешественник, заблудившийся в Волчьем лесу, тщетно искал выхода; усталая лошадь не могла идти далее; незнакомец сошел с нее и пошел вперед.

Наряд на нем был смесь русского, тогдашнего (при Петре I), и немецкого; за поясом была пара пистолетов. Между деревьев он увидел огонек; путешественник пошел туда. Это были развалины какого-то древнего строения; в одном окне оно, заваленного горами камней, блистала свечка; подкравшись, он увидел почтенного старца, читавшего книгу. Тихо постучался он в дверь.

— Войди! — сказал слабый голос внутри.

Путешественник вошел в бедную, мохом обросшую келию.

— Здравствуй, Арсеньев! — приветствовал таинственный.

— В пору ты приехал, — днем позже — ты потерял бы невесту.

Изумленный Арсеньев не мог ничего отвечать.

— Как вы меня знаете? — спросил он чрез несколько минут.

— Прежде, нежели ты вступил в этот лес, — я уже знал все, к тебе относящееся. Садись, и не заботься о лошади, ее накормят. Миша! — сказал он едва внятно, и громкий, пронзительный голос повторил в развалинах: «*Миша!*».

Мальчик лет четырнадцати, похожий более на чертенка, косою, со включенными рыжими волосами, вывороченными ногами — явился в комнату.

— Миша! расседлай лошадь этого господина и принеси нам ужин.

Арсеньев пришел в себя.

— Я узнаю тебя, — сказал он, — ты мошенник, бежавший из Любека, где хотели сжечь тебя, как чародея и обманщика; ты был пойман в шайке разбойников и присужден к виселице. Ты ушел опять, сделался учителем алхимии; я истратил у тебя все деньги так же, как и другие товарищи, не иаучась от тебя ничему; ты был узан.

— Молодой человек! проникая в прошедшее, я узнаю, о ком ты говоришь, о Рельмане; но вспомни его, и смотри на меня! Есть ли какое сходство между им и мною: тот ниже ростом; у него рыжие волосы; лет тридцати; я называюсь

Лотом, ты видишь мой рост — (он встал и выпрямился), — волосы у меня были когда-то черные, но теперь побелели от времени.

— Мошенник! я всегда тебя узнаю! Не ты ли переменял, смотря по обстоятельствам, имя, голос, цвет волос? Я изобличу тебя.

Он бросился на него и хотел сорвать накладную бороду.

— Дерзкий! знаешь ли ты, что мне повинуются духи ?

— Пустое! знаю все твои уловки.

При этом слове, он схватил его и бросил на землю.

— Арсеньев! — сказал он жалостно, — вспомни, что твоя невеста идет замуж, и я могу тебе помочь.

Арсеньев пустил его.

— Арсеньев! обещаете ли вы мне награду и не избличать меня, если я высватаю вам Марью Петровну?

— Молчание и двести рублей. Но объясни: что делается в доме Ганки?

— Старик ненавидит вас за то, что вы, по воле государя, уехали в Геттингенский университет. Юм сватается на его дочери.

— Этот старый черт! я...

— Его ожидают сюда завтра.

— А Маша ?

— Маша помнит вас; недавно она была у меня; и я, признаюсь, желая снискать вашу милость, показал ваш образ известным мне способом.

— И это истина?

— Клянусь вам всем для меня священным.

Арсеньев протянул руку, и Лот, боязливо стоявший возле стены, подошел к нему.

— Пойдем ужинать, — сказал он, — я не так беден, как вы думаете.

Они вышли в другую комнату.

— О! и в самом деле: у тебя несколько стульев, картины, тюфяк с сеном. Стол, право, недурен, — продолжал он, садясь, — цыпленки, запеканка, молоко; как ты это все достал?

— Эту комнату с мебелью и со всеми чудесами, какие вы узнаете после, я нашел готовую. Здесь, когда-то, владелец замка содержал подобного мне...

— Обманщика, — ну, продолжай.

— Положим, так; с вами нельзя спорить; после него двадцать лет она была пуста; молва, что здесь носится дух умершего чародея, не позволяла никому бывать в ней, и все сохранилось, как видите. Я знал этот слух, и...

— Пользуешься легковерием глупцов?

— Да, по милости их, вы кушаете цыпленка...

— Красная скала горит! — сказал громкий голос в сводах комнаты.

— Оставайтесь покуда одни, и не выходите за мною; кто-то идет сюда.

— Только не обманывай, слышишь, не то...

— Тс...

Ночь сделалась еще темнее; и в лесу было темно, страшно и сыро, как в могиле.

— Видите ли, сударь, огонек? это на красной скале! Тише, не разбейте лба! Никто не знает, кто его разводит; там внизу — вход в долину.

— То есть, куда мы идем! — но скоро ли будет конец? я устал, дрожу, то есть перезяб, как собака.

— Сейчас, погодите. Огонь загорелся сильнее; это значит, что колдун не сердит.

— Дай Бог! чтобы мы не по-пустому проходились; вон еще огонек, это что значит?

— Это его комната. Слышите ли музыку'?

— Кто это играет?

— А почему знать! Но вот мы у дверей; прикажете ли постучать?

Ганка кивнул головою; но дверь отворилась сама собой, и они вошли.

— Здравствуй, Ганка! — сказал Лот. — Ты пришел узнать судьбу своей дочери?

— Так точно, почтенный муж, я хочу знать: будет ли счастлива дочь моя?

— Положите на стол рубль, или более, — прошептал Григорий, — тогда он вам вернее скажет.

Ганка поклонился, пробормотал несколько несвязных слов, между коими можно было только разобрать: «то есть, то есть благодарность, то есть, то есть» и исполнил наставление слуги.

— Не думайте, — сказал Лот, — чтобы я нуждался в этой безделице; но я принимаю ее, как величайший подарок, как милость моего благодетеля, — благодетеля, коего прадед дал мне убежище в своей земле. Вы узнаете все; слуга ваш не может быть здесь.

Григорий вышел.

— Итак, вы хотите узнать судьбу вашей дочери?

— Да, почтенный муж, то есть, будет ли она благополучна за Юмом?

— За Юмом? Вы узнаете.

Но я считаю нужным описать его комнату.

В углу было что-то подобное камину, возле чугунная печь; по углам стояли две какие-то статуи; окна были с железными решетками; на столе, закрытом черным сукном, горели восковые свечи; на нем лежали: оловянный шар на ремне, обнаженный меч, волшебный жезл и книга.

Лот встал, посадил на кресла Ганку; очертил его мечом; взял оловянный шар, три раза бросил им в порог; потом стал посреди комнаты, сделал несколько кругов в воздухе волшебным жезлом и начал говорить на незнакомом Ганке языке.

Первое удивление старика был легкий удар; потом в сводах раздалась приятная музыка, и громкий голос сказал :

— Маша любит Арсеньева, он ее суженый; и, несмотря на твое желание, она не будет за Юмом, но за тем, кого любит.

— Как? То есть...

Ганка вскочил со стула; но в это время одна статуя медленно двинулась вперед и с поднятым жезлом стала перед Ганкой.

Старик сел опять на место, и статуя удалилась.

Лот протянул жезл — свечи погасли; среди комнаты

явилась жаровня, из нее вышел легкий пар, который чрез несколько минут образовал две фигуры, похожие на Арсеньева и Машу, в брачных венцах.

— То есть... то есть, — закричал Ганка, и, в страхе забывшись, хотел встать, но все исчезло; зеленый свет наполнил комнату.

— Ни с места! — сказала другая статуя; Ганка упал на кресла; опять удар, музыка, все исчезло, свечи загорелись, и статуи стоят в прежнем положении. Опершись на меч, закрыв другою рукою лицо и дрожа всем телом — стоял Чернокнижник; когда он поднял голову, Ганка крестился и, как в лихорадке стучал зубами.

— Не бойтесь ничего, все прошло.

Ганка все еще не мог прийти в себя и смотрел по углам комнаты.

— Можно ли встать? — спросил он, — то есть...

— Можете свободно.

— Где же мой человек?

— В сенях вы найдете его и провожатого, который выведет вас из лесу; не опасайтесь ничего.

Тихо поблагодарил старик обманщика и робко вышел из комнаты, оглядываясь при каждом шаге.

— Григорий, Григорий! — сказал он.

— Я здесь, сударь.

— А вот и провожатый, — завизжал Миша, освещая свое лицо фонарем.

Ганка отступил назад, ибо думал видеть еще одно из бывших явлений.

— Ха! ха! — что это вы? я, право, не черт и вас не съем. Однако ж, — (продолжал Миша, отойдя уже далеко от развалин), — господин Ганка! если вы не дадите мне на орехи, то я... осторожнее — здесь камень — разбейте нота!... То я напушу на вас целую сотню чертей.

— Пожалуйста, не говори об этом, — теперь здесь так, так... то есть, странно...

— Дайте на орехи, или...

— Пожалуйста, молчи. *И расточатся врази его.*

— Да сколько ни читайте, все не поможет, если я вас бро-

шу. Здесь ров, не оступитесь.

Ганка дал ему грош; но Миша не переставал шутить над ним.

II

— Признаюсь, ты порядочно проказничаешь, — сказал Арсеньев вошедшему Лоту. — Не знаю, как достало у меня терпения все это слушать и молчать.

— Я делал все для вашей пользы.

— Согласен; но твоя помощь мне что-то, право, не нравится.

— Как угодно! Идите завтра к Ганке, увидите его прием; увидите нового гостя; увидите развалины своего жилища, и — призове меня.

— Увидим!

Они уже хотели идти спать, как вдруг дверь отворилась, и Миша вбежал с беспокойством в комнату.

— Батюшка! батюшка! — сказал Миша. — Юм приехал.

— Тут еще нет беды!

— Он встретил нас на дороге, — я отошел в сторону, и потом тихо следовал за ним. Но мне есть дело с вами переговорить, — выйдите в другую комнату.

Лот возвратился чрез несколько минут; в нем заметно было беспокойство.

— Мне наскучила жизнь обманщика, — сказал он. — Если я высватаю вам Машу, обещайте дать у вас пристанище мне с бедным сиротою.

— Обещаю; но что это значит?

— Гм! — завтра узнаете. Но, ради Бога! что бы ни было с вами у Ганки — не горячитесь, и не говорите, что были у меня. Прощайте!

Солнце только начинало восходить, когда проснулся Арсеньев; но представьте его удивление, когда он увидел себя в пустой комнате, где не было никакого признака, чтобы в ней кто жил; он отыскал комнату, в которой происходило

столько чудес, но и там ничего не было. Долго звал он Лота и Мишу; но никто не отвечал ему. Он оседлал свою лошадь, сел на нее и поскакал в Вороний терем.

В комнате, которую мы описали сначала, сидели Ганка и Юм.

— Да, — сказал Юм, — да, я отомщу обманщику, который набил тебе голову такую чепухой; да, и ты сам увидишь, что был обманут, — да.

— То есть, братец, ты ничему не веришь; но...

— Да, но ты обещал, попробуй исполнить, да, и если выйдет не по пророчеству обманщика, тогда мы будем смеяться.

— А если, то есть...

— Да, если выйдет по пророчеству, то я отказываюсь от невесты.

— Вот тебе моя рука. Сегодня помолвка. Но что ты сидишь все со мною, а с невестой не сказал ни слова; надо с нею больше говорить; то есть, девушки любят, когда мужчины с ними болтают: о их прелестях, о своих, то есть... чувствах.

— Да, брат, твоя правда; но я, признаюсь, не умею говорить с ними, только хочу польстишь девушке, — смотри, начну хвалить Стрелку или Звонишку; да, — да.

— Ха! ха! ха! То есть, то есть, у тебя только охота на уме...ха! ха!... Иди же к дочери.

— Ну, изволь! Да, — (сказал он, остановясь в дверях), — после обеда к обманщику.

— То есть, к колдуну? — изволь!

Маша сидела под окном и плакала, смотря в даль, когда вошел Юм; он поместился возле нее.

— Какая сегодня прекрасная погода, — так начал он разговор.

— Да, — сказала Маша, стараясь скрыть слезы.

— Да, — отвечал он, — да... да... да...

Он долго твердил бы еще да, не находя, что говорить, но тут пришла ему на мысль охота.

— Да, — продолжал он, — сегодня хорошо охотиться, —

да?

— Да, — повторила в рассеянии Маша, всматриваясь вдоль по дороге.

— Да, — да.

— Это он! — вскричала Маша, протянула в окно руки, слезы полились из ее глаз. — Это он! — продолжала она, и, забывшись, обняла Юма.

— Да, — сказал он, вырвался из ее объятий и бросился к дверям; к несчастью, Ганка подслушивал их разговор; не успел отойти и получил такой толчок в лоб, что растянулся на полу. Юм не останавливался, — сказал еще раз: *да*, перескочил через него и ушел; ибо Маша следовала назад, и он воображал, что она гонится за ним.

Ганка встал и потирал лоб, рассуждая: что это все значит?

Вдруг плач и радостные восклицания слышались в комнате, куда выбежала Маша; Ганка пошел туда, и что же увидел!..

Арсеньев и Маша обнимали друг друга; Юм кричал и сердился.

Ганка потирал лоб и думал: «Это недобрая примета».

— Батюшка! — сказала Маша. — Неужели вы не узнали Арсеньева?

И молодой человек бросился в его объятия.

— Еретик! — кричал отец. — Ты осквернил меня.

Арсеньев отошел и сказал с грустью:

— Мой благодетель отвергает меня!

— Батюшка! он все тот же: он так же любит нас; он повинился Царю.

— Ганка! если ты забудешь данное тобою слово, то я распорю тебе эту шишку вместе со лбом, — сказал Юм.

— Ты кто такой? — спросил гордо Арсеньев. — Если не замолчишь, то я прострелю твое толстое брюхо.

— Арсеньев! — произнесла умоляющим голосом Маша. — Перестань, ради Бога!

— Арсеньев! — сказал Ганка. — Я люблю тебя; но не должен любить, ибо ты жил с еретиками. Не могу позволить тебе любить Машу, ибо она невеста их благородия (Юм поправил усы); не могу дать тебе пристанища, ибо опасно пус-

тить волка в овчарню, то есть, тебя к Маше. Недаром эта шишка!

— Да, да, — твердил Юм.

— Итак, все прелестные мечты мои разрушились, — я не имею более отца, и Маша расцвела не для меня, — сказал с отчаянием Арсеньев. — Ах! как горестно мое возвращение на родину. Простите! да ниспошлет нам Бог то спокойствие, которое вы похищаете у меня!

Через несколько минут, он скакал уже по дороге к ветхому жилищу своих предков. Там встретил его Лот, не в виде чернокнижника, но просто как слуга, и чрезвычайно удивил его, когда показал несколько со вкусом отделанных им для него комнат. Он расспросил его о встрече, сделанной ему Ганкой, и с довольным видом сказал:

— Не правду ли я говорил? но не отчаивайтесь, я помогу вам; обещайте мне только пристанище у вас и кусок хлеба.

Арсеньев обещал.

III

Печально закатывалось солнце за голые деревья, обнаженные рукою осени, и между вершин этих деревьев и груды камней, лучи его, пробираясь в узкое длинное окно, заделанное железною решеткою, освещая слабо мрачные своды, падали на камин и рисовали его в тесном углу, подобно гигантскому остову.

Два человека с длинными черными бородами, в русских кафтанах, сидели на диком камне и всматривались в темные углы комнаты.

— Тьфу, черт, как я устал! Ушел, проклятый, и след простыл.

— Да полно, Ганка, озираться и читать молитвы, твой чернокнижник сам струсил, да...

— Нет, брат, что ни говори, а не быть добру, то есть, посмотри, что он с тобою сделает....

— Со мной! увидим, — сказал Юм, сжимая рукоятку охотничьего ножа.

— Слышишь ли? — прервал его торопливо Ганка, подняв вверх нос и нюхая, как гончая собака, — то есть, серой пахнет.

— Ха! ха! ха! да полно, Ганка, смешить; я, кроме сырости, ничего не слышу.

— А я, брат, так слышу!

— Да так-то немудрено видеть чудеса, о которых ты рассказывал.

— То есть, смейся, смейся... смотри... смотри... — закричал Ганка, пятясь за Юма.

И точно, вместо статуи, которая вчера подходила к Ганке, на пьедестале стояло что-то белое, похожее на Мишу, и дразнило языком Ганку.

Юм оборотился в ту сторону, но в комнате вдруг стало темно.

— Эй, брат! не шути, — сказал Юм, — да, не шути, не то...

Опять сделалось светло.

— Ну, Ганка, что же тебя перепугало?

Ганка протирал глаза; ибо, вместо Миши, прежняя статуя возвышалась на пьедестале.

— То есть, то есть, вместо этой статуи, я видел мальчика....

— Не эта ли статуя подходила к тебе вчера?

— Эта самая.

— А вот мы сейчас увидим; да...

Юм подошел к статуе и начал ее осматривать; долго не мог он ничего открыть, наконец, в пьедестале нашел ручку.

— Это что такое? Посмотри, Ганка; да, подойди ближе.

Ганка подошел к Юму и выглядывал из-за его плечей.

Юм повернул пружину — статуя стала на одно колено; Юм повернул опять — она наклонилась.

— Смотри! и я колдун. Да, брат, видишь ли, какой обман.

— То есть, то есть, это забавно, — и при этом слове, ободрясь, Ганка подошел ближе.

Юм поворотил — статуя сложила руки, Юм продолжал вертеть — статуя выпрямилась, потом подняла ногу, потом руку, и наконец, отвесила жезлом удар по спине Ганки, который в это время стоял близко, и, наклонясь, рассматривал пружину; старик закричал, присел и не смел поднять вверх головы. Юм хохотал, и вертел по-прежнему — статуя подняла опять руку, и Юм получил такой же подарок.

— Проклятая! — закричал Юм и толкнул ее ногою. Статуя и пьедестал с громом и пламенем провалились сквозь пол.

Ганка поднял голову, и, видя, что Юм чешет спину, принялся хохотать.

— Что, брат, то есть, досталось?

— И ты туда же смеешься, а сам, да, сам то же скушал.

Между тем, как Юм осматривал место, где провалилась статуя, Ганка взглянул на камин, — и что же: вместо дров, которые видны были в нем прежде, выглядывала оттуда голова Миши и дразнила старика.

Смотри! смотри! — закричал Ганка, указывая на камин.

— Ну, что там еще?

— Смотри! в печке опять тот же бесенок.

— Я ничего не вижу, кроме дров.

В печке точно были дрова, как и прежде.

— Ты бредишь, Ганка.

Юм оборотился к окну, и та же голова начала опять дразнить Ганку.

— То есть, то есть, брат, опять...

— А вот мы увидим, — сказал хладнокровно Юм, подходя к камину, в котором, как и прежде, видны были дрова.

— Ради Бога! не подходи близко, то есть, нас опять поколотят.

— Да, пускай попробует еще раз.

Юм был уже в пяти шагах от камина, как вдруг из-за дров выскочил заяц, бросился под ноги Юму и ушел в двери.

— Держи, Ганка! — закричал Юм, но Ганка сам бежал прытче зайца.

В эту минуту, где ни взялись две своры борзых собак, и пустились за русаком. Юм, страстный охотник, забыл и камин, и чернокнижника, бросился за собаками, атукая и свистя. Ганка, услыша его голос, оборотился, увидел собак, и, воображая, что они за ним гонятся, пустился бежать еще шибче.

Эта процессия долго находилась в следующем порядке: впереди заяц, далее, позади, Ганка, за ним собаки, а потом Юм; наконец заяц и собаки скрылись, Ганка от усталости упал, Юм запнулся на него и всею тяжестью своего благородия придавил будущего тестя.

— То есть, то есть, брат, у тебя нет ни совести, ни Бога, травить меня собаками.

— Да кто тебя травил, я и не думал; вольно тебе бежать прытче борзых. Ха, ха, ха!

— А собаки разве не твои?

— Да, брат, теперь только опомнился, ведь это мои собаки; да откуда их принесло нелегкое?

— То есть, брат, встанешь ли ты сегодня; мне тяжело.

— Да, брат, сегодня досталось. Как бы отыскать собак, а там опять к чернокнижнику.

— Нет, брат, воля твоя, я ни за что не пойду, то есть, моим бокам и то досталось.

Они встали; Юм начал скликать собак, а Ганка побрел тихонько домой.

IV

Несмотря ни на слезы, ни на горесть, ни на мольбы своей дочери, Ганка не переменял намерения; все, на что он согласился, была только отсрочка свадьбы на год.

В день помолвки Юма и Маши гостей было довольно, все веселились, и никто не обращал внимания на слезы невесты. При конце обеда, когда вино туманило и двоило предметы, среди залы явился Лот с длинною бороδοю; платье его перевивали серые змеи, а также и шапку.

— Черно книжник! — шептали гости с ужасом.

— Ганка! — произнес он. — Помнишь ли ты время, когда принял и усыновил Арсеньева? Ты клялся быть ему отцом! Где твоя клятва? Ты отринул его за то, что он не хотел, подобно тебе, убежать спасительного просвещения. Ты сам усилил любовь его и своей дочери; не ты ли говорил ей: «Дочь моя! люби его, он будет тебе некогда вместо меня». Не ты ли своими ласками награждал их взаимную нежность? — и теперь, когда эта страсть составляет всю их радость, надежду и жизнь — ты хочешь уничтожить ее для своих прихотей. Я пришел требовать твоего согласия на брак Арсеньева и Маши! отвечай!

— Я не могу, — то есть, я дал слово Юму!

— Я знаю, он откажется!

— Никогда, — закричал Юм, бросив на тарелку рака, — скорей вареные раки будут ползать и вода превратится в вино, — да, в вино, — нежели я откажусь! — да!

— Соглашайся же, Ганка! это все может случиться, и я уверяю тебя, что при малейшей опасности, Юм первым оставит свою невесту.

— О! если я ее оставлю, тогда откажусь, да, тогда, а до того прошу убираться.

— Слабый смертный, ты забываешь, с кем говоришь!

— Знаю, брат, да, знаю! Не толкай меня, Ганка, я не поблуднею от него, так как ты, да, — смотри, что я с ним сделаю.

Тут он соскочил с места и бросился к Лоту. В эту минуту раздался треск, шипение и каждый змей на его платье изрыгал огонь, так что черно книжник, казалось, превратился в огненный столб. Юм отскочил от него и закрыл лицо руками, — огонь опалил ему бороду; гости разбежались, куда глаза глядели, а Ганка стащил со стола ковер (которым, по древнему обыкновению, покрыт был стол), скатерть (она слалась сверх ковра), и, закутавшись в них, лежал недвижим.

— Страшиться моего мщения! — сказал Лот и вышел из комнаты.

На улице все видели, как огненный человек пролетел

по полю и бросился с моста в реку.

V

Ночь покрывала природу. Снег большими охлопьями засыпал дорогу; ветер бушевал в полях; эта ночь не была темна, как могила, — нет, но беловатый свет метели представлял что-то беспредельное — без темноты и света, где взор не видел ни земли, ни неба и где человек на каждом шагу ожидал встретить гроб.

Эта погода застигла в дороге трех путешественников — то были: Ганка с дочерью и Юм. Первый читал молитвы, смотрел на дочь, как на безвременную жертву, и слезы лились по щекам его; он раскаивался, что решился отвезть ее в монастырь, дабы до свадьбы предохранить ее от козней чернокнижника, и твердо был уверен, что эту бурю наслал волшебник; он был готов в сию минуту отказать Юму, и даже забыл его саблю.

Маша, не имея надежды соединиться с своим любезным, была равнодушна к жизни; но видимая смерть ужасала ее.

Юм бранился, клял погоду, снег и ругал кучера.

Сани тихо подвигались вперед, лошади опустили головы, кучер бросил вожжи, ибо дорога была потеряна и не было надежды выбиться из этой пустыни.

Так провели наши несчастные странники четыре ужаснейших, самых длинных часа между надеждою жизни, и — отверстою могилою.

Наконец кучер сказал:

— Радуйтесь, сударь! Верно, из нас кто-нибудь счастлив: мы в лесу, лошади фыркают, они чувят жилье.

Юм высунул голову и закричал:

— Да, точно, направо виден большой огонь; поворачивай туда! — ну, слава Богу!

— Слава Богу! — повторили путешественники вместе.

— Не отгадаешь ли ты, где мы? — спросил Ганка у кучера.

— Хоть убейте, не знаю, — отвечал он, — постойте, налево, кажется, Красная гора, а это, где огонь горит, то место, где жил колдун.

— Колдун! — закричал Ганка. — Поворачивай назад, то есть, куда хочешь, только не туда.

— Помилуй, брат, — воскликнул Юм, — что ты, разве опять искать смерти? увидим, что он может сделать; да, увидим. От злых духов есть у меня крест, а от бездельников сабля; но вот мы остановились — идите за мной.

Он вынул саблю, пистолет и пошел вперед; за ним Маша и потом Ганка.

Комната была та самая, в которой гадал Ганка, чисто прибранная, с тою же мебелью; хотя в ней никого не было, но видно, что кого-то ожидали: две восковые свечи горели на столе, и в камине разложен был огонек.

— О! здесь хорошо! — сказал Юм. — Да. Где же хозяин? Ответом было молчание.

— То есть, братец! перестань кричать, — видишь, как Маша боится.

Полчаса провели они в каком-то ожидании и тайном страхе; но, видя, что ничего нет ужасного, бесстрашный Юм велел принести водку и закуску, и принялся вместе с Ганкою пировать. Маша как будто что-то припоминала и делалась веселее, — она попросила воды, ей подали в стакане; Маша надпила его и поставила. Юм, развеселенный вином, взял стакан, попробовал, не холодная ли, потом поднял его вверх и сказал:

— Да, — вот теперь желал бы я, чтоб эта вода превратилась в водку. Ай!

— Что такое? — спросил Ганка.

— Меня кто-то ударил.

— Ха! ха! ха! ха! — раздалось в воздухе. Все перекрестились и, казалось, хотели увериться, что они обманулись.

Несколько минут прошло в молчании; наконец, Маша взяла стакан, хотела пить; но только поднесла к губам и с ужасом поставила на стол.

— Это вино! — сказала она.

— Вино! — воскликнул Юм, взял стакан, попробовал и уронил на пол. — Да, вино! — прошептал он.

Ужас увеличивался.

Вдруг Ганка закрыл лицо и, указывая на стену, шептал:

— Смотрите! смотрите!

На ней носились, как тень, какие-то страшные лица.

В это время кучер принес закуску; он развязал салфетку, в которой были вареные раки, и они поползли по столу; кучер отскочил; Ганка стучал зубами; Юм протирали глаза, Маша становилась покойнее и покойнее.

— Два условия, назначенные вами, исполнились! — загремел голос. — Соглашайтесь на предложение Арсеньева, или страшитесь моего мщения!

— Соглаш...

— Молчи, Ганка! — воскликнул Юм, — или я тебе первому раскрою лоб! Да, я не соглашаюсь, и увижу, что можешь ты мне сделать! явись сюда! Попробуй моей сабли!

Он вынул ее и ударил по полу; она зазвучала, и эхо повторило этот звук.

— Итак, мщение!

— Мщение! мщение! мщение! — загудели и завизжали тысяча голосов; поднялся страшный вой, лай, мяуканье, ржание, гром, свист, и между этим слышалась приятная музыка; только эти слова можно было разобрать из песни, петь той стройно:

— Страница! — — тебя... невидимые... силы... все для твоего... мужайся...

Раздался ужасный удар, свечи и огонь в камине погасли.

На стене явилась огненная надпись: *«Соглашайтесь, пока есть время!»*

— Нет! сказал Юм. — Ганка! если ты согласишься или уйдешь, то я прострелю тебя.

Ганка не знал, что делать; он боялся оставить дочь, которая находилась, как будто, в обмороке, не менее, как и столетов Юма. Между тем, комнату наполнил зеленый свет, в котором являлись и исчезали разные мечтательные фигуры, вертясь около головы Ганки и Юма; первый кричал

во все горло: «*Да воскреснет Бог*» и прочая, вмешивая иногда в молитву любимую поговорку «то есть», а второй махал саблей во все стороны, твердя тихонько: «да», и рубил один воздух.

Опять гром, опять темнота и надпись: «*Соглашайтесь!*»
— Нет! — кричал Юн.

Комната наполнилась голубым светом, невидимая музыка заиграла похоронный марш, и погребальная церемония потянулась мимо их; тени внесли черный гроб, поставили пред отцом Маши, открыли его — в нем лежал мертвый другой Ганка.

Живой Ганка забыл читать молитву и прятался за Юма.

Опять удар, — темнота, — надпись: «*Последний раз требую: соглашайтесь!*».

— Нет! — кричал Юм.

Красный свет страшно озарил комнату; явились два привидения: одно образ Юма, с длинными рогами; оно подходило к Ганке, вертело головою и хотело бодать его; тщетно Ганка пятился в угол, тщетно читал молитву, — страшные рога были уже возле его живота. Ганка собрался с духом, прыгнул и очутился у дверей. Между тем, к Юму подходило другое привидение — это была тень Арсеньева, вооруженная кинжалом, — отчаянный храбрец выстрелил в нее из пистолета, пуля пролетела насквозь, но тень приближалась ближе, — он чувствовал уже могильный холод, веявший от привидения, уже кинжал был у его горла. Юм не выдержал и опередил Ганку. Долго блуждал он по лесу в страхе, отчаянии и досаде; наконец, наткнулся на кого-то.

— Кто это? — закричал он.

— Я, брат! то есть, Ганка.

— Что, верно, пришлось нам умирать здесь?

— Я говорил тебе, то есть, откажись!

— Да, брат! я не думал, чтобы... в...

— Согласитесь ли вы теперь? — сказал голос.

Они обомлели.

— Согласен я, — запищал Ганка, — то есть, на брак Арсеньева и Маши.

— Отказываюсь от своей бывшей невесты, да, отказываюсь! — ворчал Юм.

Эпилог

Вот сюжет для картины живописца, взятый из жизни семейства Ганки; это чрез год после описанных происшествий.

Время перед вечером; местоположение — хорошо обработанный сад; в отдаленности и в тени, садовник что-то прилежно работает; ему помогает рыжий, косой мальчик; читатель узнает в них Лота и его сына; ближе, на дерновой скамье, сидит Ганка, возле него пунш, он курит трубку и смотрит с сердечным удовольствием на юную чету — Арсеньев рисует портрет с своей также милой и прелестной жены, которая между тем:

На люльку опустьясь,
Ни молвишь, ни дышать не смея,
Любуется плодом бесценным Гименея,
Любуется его улыбкою сквозь сон.

[Аноним]

ТАИНСТВЕННАЯ ПЕРЧАТКА

Сцена из светской жизни

— Но вы должны, однако, согласиться, что у нас нет разговорного языка. И это оттого, что у нас нет разговора, или, другими словами, нет мнений. Мы, русские, еще лепечем по-детски, еще пересыпаем из пустого в порожнее; а из ничего один Бог может созидать миры!

Так говорил Сабинин, оставляя гостиную. То был молодой человек лет двадцати шести, но на лице которого преждевременные страсти и размышление начертили глубокие морщины. Поседелая голова и густые навислые брови, из под коих выглядывали два черных глаза, придавали ему таинственный и мрачный вид. Возвратясь недавно в Москву после долгих странствий, он не принимал прежнего участия в шумных веселостях света, и появлялся только в немногих избранных обществах. Но чаще всего он посещал дом ** *; их круг состоял из небольшого числа молодых дам и мужчин, отличавшихся любезностью, умом и образованностью. Хозяйка и хозяин оживляли общество; их можно было назвать душою прекрасного тела. По своей снисходительности, они допускали в этот круг и нескольких внимательных, хотя не всегда скромных слушателей.

Передаю слышанное мною.

— В самом деле, — сказал Руссинский, когда Сабинин вышел из гостиной, дав обещание возвратиться к ужину, — в самом деле, он прав, у нас нет разговорного языка.

— Как! — возразил хозяин дома. — Проговорив с ним два часа по-русски, вы еще защищаете такой парадокс?

— И готов доказать его, — отвечал Руссинский.

— Oh! c'est un peu fort *, — воскликнула одна дама.

— Нисколько, — продолжал спорщик, — и вы первая подтверждаете мое мнение. У нас нет разговорного языка уже и потому, что мы вынуждены вмешивать в русскую речь французские фразы. А чтоб окончить спор, согласимся весь остальной вечер говорить по-русски, и за каждую иностранную фразу платить штраф: это будет платой за уроки. Один пожилой господин рассказывал недавно, что он учится по-английски, потому что французский язык стал слишком

* Ах! это несколько сильно сказано (*фр.*).

обыкновенен. И в самом деле, кто не говорит теперь по-французски? Но вместо того, чтоб заменять его английским или японским, не лучше ли стараться говорить на своем природном? Ведь в России это было бы довольно ново и оригинально!

— Хорошо, мы согласны, — воскликнули дамы, охотницы до всего нового и оригинального. — И за каждое нерусское слово по фунту конфет, не так ли?

— Не менее, — сказал в ответ Руссинский, — однако я не так строг, и с своей стороны позволил бы даже галлицизмы. Почему не поддаться? Только б выиграть.

— Мы на все согласны, — отвечали дамы. — Итак, ни слова по-французски.

— Ни слова, — повторили хором мужчины.

— *Mais où est-il donc?** — сказала одна молодая девушка, осматривая вокруг себя.

— Пойдите, — прервал ее Руссинский, — за вами фунт конфет. Однако, что вы ищете?

— Свою перчатку, — отвечала Софья.

— Я поднял сейчас какую-то перчатку с правой руки, — сказал один из слушателей.

— Ах, это моя, — возразила Софья.

— Нет, моя, — возразила хозяйка дома.

— Моя, моя, — говорили наперерыв все гости.

— А мне так кажется, что это моя, — заметил слушатель.

— Помилуйте, неужели трудно отличишь мужскую перчатку от дамской?

— И очень; она эластическая.

Впрочем, это была, по-видимому, обыкновенная лайковая перчатка. Но присутствие таинственного Сабинина, характером и наружностью похожего на вулкан, покрытый снегом; его искрометный и подчас как будто холодным ветром обдающий разговор; огонек в камине, перед которым сидели наши собеседники, то гаснувший, то внезапно разгоравшийся — все это настраивало воображение к чему-то чудесному, сверхъестественному. Все хотели примерить стран-

* Но куда она подевалась? (*фр.*).

ную перчатку; и всем она была пору, будто нарочно сделана на руку каждого. Дамы не знали, что о ней и думать.

— Это подарок самого сатаны, — заметил, смеясь, хозяин.

— Скорее вызов его на поединок, — прибавил Руссинский. — Кто поднял перчатку — берегись!

— И, какой вздор! — сказала Софья, когда пришла ее очередь. Она стала натягивать адской подарок; перчатка с трудом надевалась и вдруг сильно обхватила руку молодой девушки. Софья вскрикнула — не от боли, а от испуга.

В эту минуту синий огонек вспыхнул в камине, и одно из полен, объятые пламенем, скатилось к самому краю. Софья, сидевшая ближе всех, взяла щипцы и оттолкнула ими мятежный уголь внутрь камина. Но едва успела она принять оттуда руку, как на перчатке, ее покрывавшей, обозначились понемногу огненные литеры, и она прочла с ужасом: «*À la plus belle*»*.

— За вами фунт конфет, господин сатана! — воскликнул Руссинский с комическим жаром. — Прошу вас!

Не успел он выговорить, как в камине образовалась какая-то огненная масса, словно с хвостиком, рогами и с двумя черными мышинными глазками, наподобие той, которую вы, читатель, нынешней зимой видели в руках художника-стекольщика перед его плавильной лампой, когда он из нее выделял маленького разноцветного чертенка. Эта масса трещала, трещала... и вдруг лопнула с шумом, обдав испуганных зрительниц пеплом и тысячью черных кусочков. Дамы подались назад от страха; да, признаться, и мужчины струсили.

— Ага! вот вам и фунт конфет, — сказал один из присутствующих.

— Хорош подарок! — отвечал Руссинский. — Я возвращаю его сатане: пусть себе кушает!

— Бога ради, ни полслова об этом, — сказала боязливо Софья. — Как знать... может быть...

— И вы думаете, что...

* Самой прекрасной (*фр.*).

Хозяйка прервала Руссинского.

— Но что вы сами думаете об этой перчатке? — спросила она.

— Читали ль вы *Сагриновую кожу** Бальзака? — спросил в свою очередь Руссинский.

— Вы хотите сказать: «*La Peau de Chagrin*»? неужто...

— Отгадали: эта перчатка из восточного талисмана.

— Вы все шутите; скажите правду.

— Уверяю вас, я не шучу.

— Как! — воскликнула испуганная Софья, поспешно снимая перчатку. — Она из...

— Да, из талисмана, — отвечал Руссинский, значительно улыбаясь.

— Ах, Боже мой! — вскрикнула бедная девушка. — И она еще не снимается... обхватила мою руку... что со мною будет?

— Не бойтесь ничего, — сказал проказник, — только куда и не желайте ничего. Иначе...

— Что же такое?

— Слушайте.

Лет за пять, за шесть, жил-был в Москве один молодой человек. Он посещал все общества, был героем всех балов; но ничто не отличало его от прочих собратий: ни блеск ума, ни игривость воображения, ни простодушная говорливость, ни расчетливая скромность, ни слишком яркий румянец, ни даже болезненная бледность или густо накрахмаленный галстук. Это был обыкновенный молодой человек из числа тех, которых мы ежедневно встречаем в собраниях, на бульваре. По крайней мере, таким он казался; или, лучше сказать — он не казался ничем, и был одной из единиц в итоге людей ничтожных.

Но в его душе, еще не развернувшейся, таилась священная искра, готовая вспыхнуть при первом дыхании любви, при первом вихре несчастий. Она вспыхнула, и надо было видеть, как ее пламя вдруг осветило его лицо, до того неподвижное и бесцветное. На месте двух стеклянных круж-

* От *сагри*, по-арабски: дикий осел, *onagre* (Прим. авт.).

ков зажглись блестящие очи, уста оживились немым красноречием, чувство проникло во все черты. Статуя зашевелилась. Кто же был ее Пигмалионом?

На московском небосклоне много звезд прекрасных; но всех прекраснее была одна девушка... назовем ее Элеонорой. Все, что Юг и Север, нега и меланхолия, воображение и чувство имеют привлекательного — все это вмещала в себе возлюбленная моего друга. Самые противоположные элементы примирались в ней и сливались в один полный, сладкозвучный аккорд. Но пора любви для нее еще не настала; рой молодежи кружился около этого цветка и отлетал, как отлетают пчелы от розы, еще не развернувшейся. Мой бедный друг поневоле сделал тоже, и в начале весны его имя стояло в списке отъезжающих за границу.

Тогда в первый раз обратили на него рассеянное внимание, и в одном обществе кто-то сказал нечаянно:

— Такой-то едет в чужие края.

— Право? — примолвила нараспев Элеонора.

Разговор о нем прекратился, и речь зашла о погоде.

На паспорте моего друга было написано: «В Германию, Францию и Италию». Он начал с первой, и стал искать рассеяния в ученье. Одаренный отличными способностями, он обхватил разом всю немецкую премудрость, и через два года был уже Доктором Философии, Медицины и Юриспруденции. Чего ему недоставало? Безделицы — спокойствия! Ученость с своими сомнениями только умножила его душевную тревогу. Он осмотрел вокруг себя и увидел лишь ученых женщин да кухарок, лишь кабинетных затворников да феодальных баронов: ни души, которая б пришла по нем. Он заглянул внутрь себя, и нашел — в уме хаос сведений, без лучезарной мысли, а в сердце — все ту же страсть, знойную, как солнце в Аравийской пустыне, и ни капли живительной струи, чтоб утолить жажду душевную.

В досаде на себя и на немцев, он оставил Германию. «В Париже, — думал он, — найду я пищу для рассудка и рассеяние для сердца». Пестрая панорама этого города пленила его воображение; он ощутил себя совершенно в новой сфере идей, мнений, нравов. Как ребенка тешат разноцвет-

ные картинки, так его занимали прения палат, водевильные куплеты, перемены министерств, уличные карикатуры, блеск и приманки Пале-Рояля. Бесперывный шум, суета, которые наводят на новичка-путешественника какую-то опьяненность, заглушили в нем на время тоску сердечную. «Вот где, — мечтал он, — прямое счастье; что мне в этой Москве, где на все и на всех наведен уровень; где по платью и встречают и провожают; где общество не умеет ценишь ни ума, ни познаний; где чины и души ставятся выше души и дарований; где нет отголоска ни одному чувству, ни одной мысли, и где они теряются одинокими в пустыне; где...» Тут он остановился и подумал об Элеоноре. «Ах! — продолжал он. — Если бы хоть она поняла меня — о, тогда я, не оглядываясь, возвратился бы в отечество. Ведь она одна меня к нему привязывала; и что ж? Этот последний узел порвался, как и все прочие! Нет; здесь лучше! здесь и моя отчизна!»

Долго баюкал он эту мысль, и наконец решился перевести в капитал свое имение. Однако, из остатка благоразумия, он захотел наперед оглядеться, завести связи, найти себе круг и занятия. Сначала, пока его внимание было обращено на материальную часть жизни, все шло успешно, все улыбалось его планам. Но, когда дело коснулось до обеспечения нравственного бытия, то он призадумался. Легко ему было застраховать и свою жизнь, и квартиру, и пожитки; но трудно было застраховаться от скуки и одиночества. Париж нечувствительно обратился для него в заселенную пустыню, где он встречал людей, но не находил человека. Ему все было чуждо — и нравы, и интересы, и самый язык; ибо, хотя он и умел говорить по-французски, но не умел по-французски думать. Словом, он был похож на опоздавшего собеседника, который слышит последнюю фразу разговора и желал бы, да не может вступить в него. Ему нужны были объяснения, для которых бы не достало жизни человеческой. Он хотел участвовать в делах, успехах, ошибках народа, и везде встречал для себя одни загадки и разногласие. Его понятия были отлиты в иную форму, и он, не-

смотря на свою европейскую образованность, все-таки походил на полуазиатца.

Кончилось тем, что он незаметно очутился в обществе русских, этих четверть-французов, которые от скуки, по моде, из обманутых надежд честолюбия, приезжают в Париж прогнать хандру, прожить деньги, или вдалеке от России излить на нее скопившуюся желчь и досаду. Но такое общество не было ему по сердцу; стоило ль оставлять родину лишь для того, чтоб жить посреди людей, или отверженных ею, или добровольно от нее отказавшихся, чтоб жить в этой западной Сибири, где будешь лишен и последнего утешения изгнанника — неверной надежды на лучшее?

Мой странствователь наконец опомнился, и поехал искать счастья в Италии. Он имел душу, доступную изящным ощущениям: произведения искусства поглотили все его внимание; он сделался художником, поклонником одного прекрасного. Но скоро и это ему прискучило: одни развалины да развалины, да обломки древнего, разрушенного мира навели на него неизъяснимую тоску. Мечты о прошедшем, как и мечты о будущем, расслабляют душу; одно настоящее, близкое, крепит ее и дает истинную цену воспоминаниям и надеждам. Правда, природа Италии, лучшее из ее произведений, полная жизни и красот неумирающих, отвлекла его на время от этих развалин, на которых он чуть было не оброс мхом вместе с ними. Но что природа без людей? Не те же ли развалины? И добро б это была девственная природа Америки; а то классическое кладбище народов, смесь снегов и лавы, ряд памятников разрушения, и у подножия их искаженное племя, как будто созданное только для того, чтоб быть чичероном праздного любопытства чужестранцев!

«Нет! — сказал он. — Вон из Италии, скорей на родину: Русскому одно место — Россия! Русский — весь надежда; что у него общего с этим стареющимся Западом, который, дряхлея, насильственно ищет воскресить себя? Он может быть его учителем, но не товарищем».

И после пятилетних странствий, мой друг отправился

обратно в Россию. Учение, опыты, которые так дорого нам достаются, преждевременно его состарили. Он хотел поспешишь жизнью и успел в том. Казалось, он отжил три века и пережил три народа; ему осталось начать новый век у себя, под родным небом.

— Что ж, излечился ли он от своей страсти? — спросила Софья, поглядывая на перчатку.

— Не совсем, — отвечал Руссинский. — Правда, он старался размыкать по свету эту страсть, от которой бежал в чужие край. Но любовь, как змея, живуча; разорви сердце на части — оно все будет биться. Словно горный поток, его любовь иссякла на время; но при первом луче надежды ледяная кора растаяла, и страсть забушевала с прежней силой.

Из множества писем, которые он взялся раздать на обратном пути своем, одно было адресовано в Лемберг к ученому археологу L. По приезде в этот город, он немедленно к нему отправился. Любитель древностей, маститый старец, родом серб, принял его с славянским радушием. Пригласив его к обеду вместе с несколькими из своих знакомых, он повел его после стола в свой кабинет. Вальтер Скотт избавляет меня от описания этой комнаты. Кому из вас не знаком кабинет его антиквария? Сам старец был лучшим из антиков. Он походил на какую-то древнюю камею с головой Пифагора, и казался, в самом деле, обломком языческого мира, всплывшим на океане времен после его кораблекрушения. Чего не вмещала эта голова, чего не выдали эти пронзающие взоры, чего не передумал этот Вечный Жид нового рода, осудивший себя на необъятное странствие по всем векам и поколениям? Это была всемирная история в образе человеческого; это была живая скрижаль, олицетворенное предание. Он, казалось, не принадлежал ни одному веку, ни даже своему; и в этом гении бесстрастия только одно напоминало о человеческом: любовь к родине. При слове «серб» или «турок» он оживлялся огнем юности, и его рука готова была схватить римский меч или пращу, висевшие в пыльном углу его кабинета.

Долго рассказывал он моему другу о своих путешествиях, о виденных им странах и народах. Несколько лет жил

он на Востоке, был в Персии, Аравии и северной Индии. Много растений, камней, идолов, рукописей привез он отсюда. Но изо всех редкостей, самая примечательная была — перчатка из кожи дикого осла, и эта перчатка....

— Теперь на мне? — воскликнула Софья.

— Эта перчатка, — продолжал рассказчик, — имела чародейную силу. Она давала беспредельную власть ее обладателю над существом, которое бы он желал покорить себе, был ли то мужчина, или женщина, или даже животное. Но только над одним; при вторичном употреблении, ее сила исчезала. Антикварий хранил ее, как редкость, и мало заботился о ее таинственном свойстве. Можно вообразить, как обрадовался мой друг этой находке: в Германии он занимался кабалистикой и верил в талисманы. Немалого труда ему стоило уговорить скупого старика, чтоб отдал ему перчатку; он обещал ему в замену доставить из России несколько харатейных рукописей* и опись Московского архива, на что старик наконец и согласился. С новой надеждой поскакал он в Москву, и дай Бог, чтобы на этот раз она его не обманула!

— Не думает ли Сабинин повелевать мною? — сказала с гневом Софья. — Вот назад его перчатка.

Но перчатка не снималась с руки молодой девушки. Русинский улыбался.

— Помилуйте, — сказал он, — вы не дали мне кончить, и уже произносите приговор моему другу. Он был великодушнее вас: сделавшись обладателем талисмана, Сабинин — (вы первая его назвали) — не захотел им воспользоваться; напротив, он предоставил его во власть вашу: располагайте им, как вздумаете; но помните, что, с первым желанием, его сила исчезает невозвратно.

Эти слова смутили Софью.

— Мое первое желание было — снять эту перчатку, — сказала она вполголоса, — и однако...

— Оно не исполнилось? — подхватил Русинский. — Видно, от того, что вы желали невозможного. Хотите снять пер-

* Т. е. написанных на папирусе или пергаменте.

чатку естественной силой значило бы то же, что навек отказаться от желаний. Она сама охраняет вас от этого бедствия. Станем говорить серьезно. Неужели мой друг, возвратясь после долгого странствия, будет иметь равную участь с Чацким? Неужели он будет по-прежнему встречен холодностью и равнодушием? Нет, ваше обхождение с ним показывает, что вы переменили о нем свое мнение и что он в глазах ваших уже не тот бальный герой, которого прежде вы не удостаивали взглядом. Говорите.

— Вы слишком горячо берете сторону своего друга, — отвечала Софья в замешательстве, — и я, право, не знаю....

— Скажите, — с жаром продолжал Руссинский, — ужели он пожертвовал лучшими годами жизни, обогатил себя сведениями, опытом только для того, чтоб увидеть собственными глазами, как нечувствительность торжествует над усилиями любви?

— Перестанем говорить об этом, — сказала Софья. — Скажите лучше, для чего вы так несходно описали меня в своем рассказе? Кто бы мог узнать меня в вашей Элеоноре?

— Виноват, если мой портрет ниже своего оригинала. Но что вы скажете о Сабинине? Не правда ли, что он переменялся?

— Он постарел.

— И только?

— Что же больше? Ну, еще украсился почтенными сединами.

— Кто вас отгадает! Когда в лице его был румянец и черные волосы покрывали его голову, он вам не нравился, как пустой мальчик. Теперь, когда он возмужал, когда наполнил чувством пустоту сердца и познаниями пустоту ума, он вам опять не нравится, и потому только, что поседел и состарился по милости же вашей. Но знает ли, что если весь его недостаток в одних сединах, то этому легко помочь?

— Не ужели?

— Добрый знак! Выслушайте меня; я вам докажу, что можно любить и седины. Почитать их — внушает сама природа: не преклоняете ли вы колен перед мудрым? а седины — принадлежность мудрости.

— Но любить?

— И любишь также. Что может быть прекраснее белых сребристых волос? Не вмещают ли они в себе все цветы радуги? Вам стоит пожелать, и они будут отсвечивать вашему воображению то золотистыми локонами Аполлона, то черными кудрями итальянца, то белокуроыми власами Оссианова героя....

— Или того альбиносца, которого недавно показывали за деньги?

— Как вы злы! Почему ж лучше не Мазепы, который своими седыми усами умел пленить Марию? Или Ундины, только что вышедшей из недра вод? Чего не украсишь воображение? Только велите ему.

— И в этом-то ваше средство?

— Разумеется. Все основано на мечте и обмане; без них не было бы счастья супружеского.

— Опять парадокс, — заметил хозяин, — но в нем кроется истина. Если единственным препятствием к супружескому счастью седины, то прочь их. Попросите мужа выкрасить волосы или призовите на помощь воображение.

— Прекрасно! — воскликнул Руссинский. — Но если это препятствие можно уничтожить и без помощи воображения или парикмахера, тогда *что* вы скажете, ненавистница седовласых?

Софья задумалась и молчала.

В это время доложили о Сабинине.

— Разрешите наше сомнение, — сказал ему Руссинский, — может ли твоя странная перчатка уничтожить одно важное препятствие к твоему счастью.

— И не одно, а все, — отвечал Сабинин, — только б пожелала того ее обладательница.

— Слышите ли? — заметил Руссинский, обращаясь к Софье.

— Так это вы обладательница талисмана? — воскликнул Сабинин в восторге. — О! скажите, скажите, в чем препятствие к моему счастью? Чего желали б вы? Умоляю вас, откройтесь!

— Я желала бы одного... — начала Софья, потупив взоры.

- Чего же?
- Чтоб вы помолодели... — отвечала она с робостью.
- И тогда?
- Я согласна...
- Виват! — закричал Руссинский.

«Однако, как ограничены желания женщины!» — подумал он про себя. Этого не сказал бы он вслух.

Сабинин вышел из комнаты и через минуту возвратился цветущим юношей с черными кудрями по плечам и без этих страшных навислых бровей, которые так пугали Софью. Он подошел к ней, взял ее за руку и в это мгновение перчатка незаметно упала на землю: ее сила исчезла.

Все, кроме Руссинского, были поражены удивлением.

— Что, в этом виде я вам более по сердцу? — спросил Сабинин у Софьи.

Она взглянула на него и покраснела.

— Вы чародей, — отвечала она тихо, — хотя и не знали, что странности могут пленить ум, а не сердце.

— Однако они нечувствительно проложили к нему путь, не так ли? — заметил Сабинин, улыбаясь. — Обыкновенный молодой человек не мог тронуть вашего сердца; я подумал: не сильнее ли на него подействует шарлатанство ума? А оно везде нужно, и в любви еще более, чем где либо.

— Твоя правда, — прибавил Руссинский. — В наш искусственный век уже не пленяет ни простодушие, ни естественность. Наши нервы притупели, и мы требуем от любви, как и от литературы, сильных, резких впечатлений. В этом кроется глубокая тайна, и счастлив, кто мог ее постигнуть.

— Вы надоедаете нам своими нравоучениями! — сказали дамы. — Лучше растолкуйте нам, г. Сабинин, таинства вашей перчатки; они интереснее таинств шарлатанства.

— Угодно вам выслушать полный курс химии и физики? — спросил помолодевший старец.

— Обманщик! — сказала Софья, грозя ему пальцем.

— Таковы мы все больше или меньше, — отвечал Сабинин.

— Растолкуйте же нам... — повторили дамы.

— Об этом после, — прервал Руссинский. — Лучше ска-

жите, отчего так мало набралось конфет?

— Верное доказательство, — отвечал хозяин, — что у нас есть разговорный язык.

— Да, сладкое доказательство! — сказал Руссинский.

— Но сознайтесь, хоть в первый раз в жизни, что вы неправы.

— Пойдите, пойдите, вечер еще не кончился.

В самом деле, когда дамы приняли большее участие в разговоре и он от того оживился, Руссинский имел утешение насчитать с полпуда конфет к концу вечера.

— Вот вам и для свадебных сюрпризов, — сказал он Софье. — Но к какому времени назначите привезти их?

— Теперь пост, — отвечал Сабинин, целуя руку у своей невесты, — и потому не ранее, как к красной горке. Не так ли?

Руссинский, верный своему патриотическому чувству, обещал выбрать из русских поэтов новые двоестишия для конфетных ярлычков и сдержал слово: они в это время, как я пишу, уже рассматриваются цензурой и скоро будут *напечатаны*.

— Но объясните же вашу таинственную перчатку, — могут сказать читательницы.

— Угодно ли вам, чтоб я повторил вопрос Сабинина?

— Нет, мы не хотим химических объяснений: это слишком естественно.

— А вы желали бы сверхъестественного? Виноват, у меня его нет в запасе. Я даже должен буду вам признаться, что вся моя история *est de pure fantaisie....**

— Пойдите, — прерывает меня Руссинский, — за вами фунт конфет.

* Является чистой фантазией (*фр.*).

— Ну, коли хотите, весь мой рассказ есть чистая выдумка; и даже вы сами, г. Руссинский, существуете только в моем воображении.

— Нет, это уж слишком, — отвечает спорщик, — позвольте вам доказать...

Я прерываю его в свою очередь и говорю с настойчивостью:

— Да-да, мой рассказ выдумка; но в нем одно справедливо, одно не подвержено сомнению: это то, что в Москве есть общества, где не только мужчины, но и дамы говорят по-русски и где они умеют сохранить на родном наречии весь свой ум и любезность. *Avis au lecteur**.

— Фунт конфет! — кричит Руссинский.

— Виноват, виноват!

Дай Бог, чтоб его голос раздавался почаще в наших гостиных! Тогда моя *Таинственная перчатка* была б не даром брошена.

* «К читателю», здесь: «да заметит читатель» (*фр.*).

Алексей Тимофеев

НЕВИДИМКА

Пожалуйста, господа, не ищите тут ничего особенного... это просто — *шутка!*

Верите ли вы, что есть духи?.. Нет... Неужели? Тем лучше! Знаете ли? — я сам этому не верю; я... тот самый я, который вечно живет в фантастическом мире, который весь — одно воображение... я не верю, что есть духи. Чудно, господа! Растолкуйте уж это сами. Скажу вам более. Знаете вы материалиста N.? Он боится остаться один в темной комнате. Слышали вы о моем учителе логики? При виде покойника он прячется за поленницу. Знакомы вы с доктором R.? Он бледнеет при одном слове о привидениях.

А пока вы будете размышлять об этом, позвольте перенести вас на минуту в один небольшой городок С.... губернии, — на мою родину. Вы не бывали там? Вы не слышали даже об этом городе? Да? Но, может быть, вы знаете Нижний Новгород. Как не знать Нижнего Новгорода, — этого веселого, чистого Нижнего Новгорода, живого, шумного во время ярмарки, и утомительного, скучного, однообразного в другое время? Верст за полтораста от него есть небольшой, деревянный городок на горе, с трех сторон в лесу, — это тот самый, в который я сейчас приглашал вас. Вы не ошибетесь; вы узнаете его в одну минуту. Вы увидите пять-шесть прямых, заросших травой улиц, несколько разбросанных там и сям домиков, кучу драньем покрытых лачуг, четыре белокаменные церкви, полуразвалившийся гостинный двор, совершенно развалившиеся присутственные места, кучи сора на площадях... Да, да, — почтенный читатель, это он; это тот самый город, о котором мы сейчас говорили. Там живут точно такие же люди, как и мы с вами. Там есть и библиотека, и органы, и картины, и качели, и ясные дни, и ненастная погода... Дайте мне вашу руку; это моя родина! Я рад, я очень рад, я уже почти весел; теперь она передо мною, как на блюдечке. Вижу, чувствую, наслаждаюсь, готов расцеловать каждый столб, обнять каждую кучу сора, кинуться в объятия первому встречному. Это моя родина. Вижу ее

за полторы тысячи верст, вижу и днем и ночью, — вижу наяву и во сне. О, вы не понимаете, что значит жить за полторы тысячи верст от родины! Вы живете дома; вам наскучило жить дома; вы рветесь на свободу; вы не знаете, что такое *разлука*. Для вас это только пустое, безжизненное, однообразное слово; вы только видели колодное прощание дворянского заседателя с ключницею, когда он отправляется в уезд по службе; вы только читали это слово в народном песеннике.

Я немного позадержал вас, почтенный читатель, не сердитесь. Виноват! Я вспомнил свою родину. Перенеситесь же туда!

На одном конце нашего города, на самом конце, возле церкви, есть небольшой, чистенький домик о трех окнах на улицу; с одной стороны пустырь, с другой пустырь, с третьей грязный двор, с четвертой улица. Итак, этот домик на самом краю города. Может быть, теперь это уже не то; но несколько лет назад вы не нашли бы описания вернее. Слушайте же! В этом маленьком домике некогда жила одна бедная старушка, внучка ее, 17-летняя девушка, и постоялец-дьячок, старый, начитанный. Я рассказываю вам не сказку, а быль, — происшествие, случившееся во время моей юности, которое, я думаю, и теперь еще иногда, за недостатком новостей, бывает предметом разговора в наших гостиных и залах, — не говорю уже о девичьих... и потому не лишнее будет, ежели я назову каждое из действующих лиц в моем рассказе по имени. Старушку звали Николавной, внучку, кажется, Парашей, а дьячка, дай Бог ему царство небесное, Моисеем Петровичем. Не верите, — так справьтесь!

В одну темную, ненастную осеннюю ночь; словом, — в одну из тех ночей, в которые добрый хозяин не выгоняет и собаки на двор, старушка Николавна услышала страшный стук в стену, шум, гам, крик, — словно целая ватага чертей собралась разнести дом по бревешку. Надобно сказать, что у нас народ пресмирный, шалить некому. Старушка проснулась, перекрестилась, заохала и побрела будить дьячка; а шум час от часу сильнее... Дьячок встал, сотворил молитву и вышел на крыльцо. Вдруг град камней и поленьев по-

сыпался на бедного дьячка; дьячок назад, дверь на крючок и к образу. Николавна ни жива, ни мертва; шум не умолкает. Проснулась внучка, накинула на себя шубейку и прямо в дверь; Николавна не успела и ахнуть, побледнела, затряслась.... Николавна хранила Парашу, как зеницу ока. Добрая!

Не прошло пяти минут, шум замолк; внучка возвратилась здрава и невредима. Что значит невинность! — «Еже сокры Господь от премудрых века сего, открь младенцам!» — сказал дьячок. «Господи помилуй, Господи помилуй!» — сказала Николавна. А Параша?.. Параша, не говоря ни слова, легла спать. Плутовка!

Все улеглись, Николавна не спит... чу! кто-то ходит по комнатам, стучит сапогами, побрякивает. Николавна прислушивается, творит молитву, крестится; невидимка все ходит... поют петухи, — невидимка ходит; светает, по улице уже едут за водой, гуси просят корма, — невидимка, знай себе, ходит. Николавна не смеет пошевелинуться. Проснулся дьячок, проснулась Параша, — невидимка затих. На другую ночь то же, на третью опять то же; все в ужасе. На четвертую не спит и дьячок, не спит и Параша. Николавна перед образом; всю ночь горит свеча: невидимки не слышно. Перед утром свечу погасили — невидимка заходил снова. Служат молебен; невидимка не пропадает. В темном углу, за печкой, кажется, главная его резиденция. Параша слышала, там все что-то шевелится. К углу не смеет никто подойти: там так страшно!

Проходит неделя, проходит месяц, невидимку не выживут, к невидимке уже привыкли; Николавна уже с ним разговаривает.

— Кто ты, невидимушка?

— Мужичок, бабушка!

— Что ты никогда нам не покажешься?

— Испугаетесь, бабушка.

— Долго ли пробудешь у нас, невидимушка?

— Не знаю, бабушка.

И старушка крестится, дьячок читает молитвы, — а бедная Параша? О, ей совсем не страшно! Бабушка держит Па-

рашу в руках, — с глаз не спускает. Выпало не с кем слова молвить; теперь, слава Богу, болтай хоть день и ночь. Днем невидимка сидит за печкой; ночью расхаживает по всем комнатам... Неугомонный!

Николавна делает ватрушки, — рассучила тесто, положила творогу, загнула ватрушку по краям, только что класть на лопату... Глядь, — ватрушка у Николавны на голове. Николавна бранится, невидимка хохочет, — Моисей философствует, Николавна слушает, разиня рот, Параша улыбается.

— Сон Навуходоносора предвозвещал разделение царства его на части, освобождение израильтян из рабства египетского, предвозвещающее освобождение рода человеческого из рабства греха и дьявола, — говорит Моисей. — Ватрушка перевернулась наизворот, — это предвозвещает, что весь дом перевернется вверх дном.

— Господи, помилуй, Господи, помилуй меня грешную, — твердит Николавна.

— Не в том дело, Николавна, — говорит Моисей. — Все мы грешники, Бог наказывает, Бот, и милует, Бог же и предостерегает. Не надобно все принимать запросто. Ничего запросто не делается. Ватрушка означает дом твой, творог — несчастье, голова твоя...

О, Моисей ученый человек; у Моисея на все готово толкование!

На другой день, как нарочно, у исправника вечеринка. Исправник никак не может согласиться, что ватрушку положил на голову Николавны сам невидимка; в голове Николавны должна быть электрическая сила; ватрушка наполнена магнетическою жидкостью... Тут скрываются величайшие таинства! Судья, отчаянный материалист, утверждает, напротив, что Параша видела руку, протянувшуюся из-за печки, схватившую ватрушку, положившую ее Николавне на голову. Исправник против этого. Невидимка должен быть существо духовное; тело есть существо видимое; рука есть тело; следственно, рука, которую видела Параша, не есть рука невидимки. Половина гостей принимает сторону судьи, другая сторону исправника, спор усиливается. Первые, для отличия от последних, принимают название *партии сереб-*

ряной пуговицы; последние, для отличия от первых, принимают название *партии золотой пуговицы*. Через неделю город делится на две половины, каждая половина на четыре секты, каждая секта на умеренных, отчаянных и бесполовых.

Дьячок отыскивает в какой-то старинной книге предсказание, что настанет время, когда люди будут видеть отдаленные звезды и не увидят ничего у себя под носом, будут иметь уши и не услышат своего ближнего... Настанет время, когда сердце покроется корою и головы дадут плод... Этого уже довольно! Весь город читает старинную книгу. В ней так верно предсказано происшествие с ватрушкой! Через три дня написано уже две дюжины толкований; из-за каждого толкования произошло двадцать четыре ссоры; из-за каждой ссоры сорок восемь неприятностей... Куда делось прежде радушие, прежде спокойствие, прежде удовольствие!

Все, что умело писать, схватило перо; все, что имело сильные руки и крепкое горло, бежало состязаться в прениях.

В то время жил у нас один ученый, философ, мудрец, историограф, — назовите, как угодно! Он жил совершенно уединенно, пил одну воду и питался одними сухарями; поутру пел псалмы, перед обедом делал моцион, вечером считал звезды. Кажется, этого уже достаточно, чтобы сделаться мудрым, а кто может назваться мудрым, тому уже наверное ничего не стоит сделаться чем угодно, даже и историографом. По крайней мере, так судили у нас! Историк этот написал в своих записках так: «17 ноября в 10 час. 15. м. 42 с. пополуночи в К. было чудо. Одна бедная старушка делала пирожки (если бы он написал: делала *ватрушки*, история его была бы сказка. Что значит одно слово!); пирожки вдруг поднялись на воздух, облетели три разя вокруг головы ее и потом влетели в печку. Происшествие это взволновало все умы нашего города...» и т. д. Вот как пишется, господа, История!

Невидимка сделался главным предметом разговора всего города. О невидимке спорят, кричат, чуть не режутся; однако, никто не знает, что такое невидимка. Невидимка чих-

нет, — партии золотой и серебряной пуговиц бегут, с карандашом в руках, записывать минуту и секунду чрезвычайного происшествия; невидимка охнет, — предзнаменование; невидимка свистнет, — беда; у Николавны с печки упадет на пол серная спичка, бегут измерять длину протяжения, толстоту спички; начинаются вычисления, деления, умножения, раздробления.... С невидимки снимают портреты, невидимка намалеван самой злой карикатурой. Все восхищаются сходством. Никто не видал невидимки.

До невидимки доходят эти слухи, а невидимка проказник. Дьячок подгулял у стряпчего на крестинах, пришел домой, уснул. Дьячку видится страшный сон: дьячка хотят жарить на сковороде. Темно, пусто, глухо, под самым носом огненная печь... Картина ада. Горе! горе! вдруг раздается громкий голос: «Возьми хозяйку свою и ступай вон; все остающееся здесь огонь есть, огнем погибнет! Смотри!» Дьячок вздрагивает, открывает глаза и видит над собою огромную звезду; дьячок что есть силы кричит.

На другой день по всему городу пронесся слух, что дьячку было предвещание. Открыто заседание. Партия серебряной пуговицы утверждает: поелику предвещание есть нечто духовное, невидимка также дух, с чем согласна и партия золотой пуговицы; первое предзнаменует добро, последний есть источник зла; добро и зло суть начала разнородные, противоположные, одно другое уничтожающие; следовательно, тут есть противоречие! Партия золотой пуговицы против этого. Духовное есть нечто невидимое, неосязаемое, неподверженное никакому чувству, видение же, напротив того, было видимо и слышимо дьячком Моисеем; следовательно, видение не есть нечто духовное! Спор усиливается; все кричат, никто не понимает друг друга; заседание оканчивается похвальным словом председателям,

Тогда у нас было страшное волокитство. Молодежь с ума сходила. Вы читали Всемирную Историю? Да! итак, вы знаете, что каждое столетие имеет свой отличительный характер, — век рыцарства, век открытый, век глупостей и проч., и проч. У нас в это время был век любви. Весь город был влюблен, — разряжен, раздушен, с утра до вечера порол га-

лимастью, с вечера до утра шумел по улицам, по девичьим, по спальням... Мужья умирали от ревности, матери обми- рали с досады, нянюшки дрожали от страха, девицы... Ви- новат! Искатели приключений росли, как грибы. Чуть ве- чер, — подымай любую кадку на дворе, любое лукошко на чердаке, под ними уже сидел кто-нибудь. Папеньки не ло- жились спать иначе, как обревизовав всю домашнюю утварь до последней бутылки.

Молодежь не унималась. Кто уймет ее! Имеете ли вы по- нятие о нашей молодежи, — веселой, буйной, удалой моло- дежи в палевом кафтане, с трубкою в зубах, с полштофом за пазухою!.. С этою-то молодежью надобно было иметь де- ло расчетливым, медлительным, добрым мужьям, всегда за- валенным кипами журналов, всегда озабоченным настоя- щими и будущим; с этою-то молодежью надобно было ве- сти войну хлопотуньям-хозяйкам, маменькам в бук- муслино- вых чепцах и ситцевых капотах! Молодежь делала чудеса. Надобно было видеть, как она лазила по трубам, бегала по крышам, рядилась оборотнями... Надобно было видеть это. К одной богомолке летал огненный змей, к другой черт и проч.

У Параша новый платочек, шелковый, с узорчатой кай- мою. Где взять такой платочек? Ей подарил невидимка. Не- видимка услужлив; однако Николавна недовольна им. Уй- мется ли он когда? На невидимку жалуются полиции; но полиция уже напугана. Ее ли дело выгонять злых духов? Бо- же избави!....

Николавне снятся сны; у Николавны запала тоска на серд- це. Параша нездорова; Параше день ото дня хуже... Бедная! что с нею? Кажется, она день от дня полнеет.

Исчез невидимка. Куда? как? когда? Никто не знает. Ни слуху, ни духу. Весь город толкует о невидимке; весь город разделен уже на партии; согласия нет до сих пор; у Нико- лавны невидимка с ума нейдет. Параша очень, очень не- здорова... Как жаль, что я не невидимка !

Алексей Тимофеев

МОЙ ДЕМОН

«Взяла бы я тебя за уши, — да хорошенько бы, да хорошенько бы».

Слова моей бабушки, по прочтении этой статьи.

У меня есть приятель, — самое неотвязчивое существо, какое только бывало когда в свете. Вы думаете, что это какой-нибудь товарищ детства, который привык ко мне, как к родному, или какой-нибудь двуличный ханжа, обкрадывающий меня разными невинными способами; или, наконец, какой-нибудь вертопрах, который, не зная, как одному убить время, избрал меня к тому орудием. Ни то, ни другое, ни третье, — почтенный читатель! Приятель мой самое странное существо в нашем мире. Вы никогда не имели и не будете иметь таких приятелей... И слава Богу! Кто же он? Как бы отвечать на это?... Он, ежели хотите, и не человек, и не дух, и не тень, и не машина.... Да, это какое-то совершенно новое, оригинальное, самобытное существо, не имеющее ни настоящего, ни прошедшего, ни тела, ни души, ни ума, ни воли; и — между тем, имеющее и настоящее, и прошедшее, и тело, и душу, и ум, и, волю. Повторяю еще, — приятель мой самое странное, самое чудное существо в нашем вещественном, неверующем свете. Он ужасно похож на меня, и между тем в нас нет решительно никакого сходства. Когда я смотрю на него — не я; начинаю всматриваться — я; всматриваюсь еще — опять не я; перестаю всматриваться, — опять я.

Приятель этот с некоторого времени не оставляет меня ни на минуту. И теперь... теперь, когда я пишу это, он здесь, со мною, — вот он! и между тем, поверите ли? — сих пор я не слышал от него ни слова. Он говорит со мною одними знаками; и надобно признаться, разговор этот всегда так выразителен, что я понимаю его, как себя самого.

Этого мало, что приятель мой вечно со мною наяву; часто он является ко мне и во сне; — и до сих пор все еще не наскучил; и даже иногда я бываю очень рад его посеще-

ниям. Я говорю — *иногда*, потому что есть минуты... Вы сами знаете, каких минут ни бывает в жизни человека!!

Впрочем, надобно же наконец сказать, что за существо мой приятель... Однако, как же хотите вы, чтоб я сказал вам это, когда сам того не знаю?

Я зову его *своим демоном*. Довольны ли вы?

.

Я возвратился домой совершенно расстроенный. Измена Марии давила меня в гроб.

— Выкипит ли когда эта проклятая любовь? — сказал я, бросаясь на диван.

Голова моя пылала. Я приложил ее к стене и начал машинально расстегивать пуговицы своего сюртука. Мой демон сидел уже против меня. Мы посмотрели друг на друга.

— Как коварны люди! — сказал я глухим голосом. Демон улыбнулся.

— Как низки люди! — сказал я после некоторого молчания. Демон улыбнулся.

— Неужели, в самом деле, никогда не найду я существа, которое бы понимало меня! — сказал я почти в отчаянии. Демон взглянул на меня с недоумением, и — улыбнулся.

— Послушай, проклятый! — сказал я, придвинувшись к нему. — Изобрети мне какое-нибудь мщение, — мщение, которое бы ужаснуло и небо, и землю.... которое бы прослезило и самый ад! Я хочу мстить... Я хочу терзать, резать, жечь... Научи, как это искуснее сделать!

Демон устремил на меня испытующий взор. По всем моим жилам пробежал огонь и остановился в горле. Я замолчал, дыхание мое сперлось, правая рука судорожно сжала ручку дивана и окоченела. Демон наклонился ко мне. Глаза его заблестали прямо над моими глазами; в мое лицо пахнуло вдруг могилой. Я вздрогнул, как в лихорадке. С чела скатилось несколько капель холодного пота.

— Прочь! прочь! — закричал я задыхающимся голосом.
— Мне душно!

Демон отступил назад, бросил на меня торжествующий взгляд и пошел вон из комнаты. Я пошел за ним. Мы вышли на улицу. Небо было ясно, на крышах белелись полосы только что выпавшего снега; улица кипела народом. Все это кинулось мне в глаза. Я несколько рассеялся. Демон заметил это, схватил меня за голову, повернул ее затылком вперед и потащил за собою. Я предался ему совершенно. Предо мною было одно уже прошедшее. Дома, люди, церкви, улицы, лошади, тротуары мелькали, как тени. Я шел, не зная куда. Вокруг меня толпилась какая-то пестрая, уродливая, фантастическая, безобразная толпа; со всех сторон раздавался глухой шум, прерываемый изредка пронзительным свистом и диким хохотом; я шел посреди этой — адской машины, не понимая, где я, что я. Предо мною тянулся длинный, бесконечный коридор, сплоченный из крестов, камней, будок, вывесок, кабаков, магазинов... и между всем этим сбродом время от времени мелькало изображение моей Марии и дразнило меня своею дьявольскою, коварною улыбкою. То вдруг все это превращалось в огромного змея и, свившись кольцом, устремляло на меня холодный, насмешливый взор; то вдруг рассыпалось в громаду развалин и начинало кидать в меня камнями; то, наконец, превратившись в длинную, пеструю рукопись, растянулось во всю длину, — и я читал на ней всю свою историю: первый разговор свой с Мариею о любви и счастья, первое ее признание, первое дружеское: *прости! до завтра!*... тут начиналась огненная неразрывная цепь восторгов, любви, клятв, обетов, поцелуев, объятий, наслаждений, надежд, сладостных слез, томной грусти, и вдруг измена... последнее слово выжгло мне все глаза... каждая его литера была или огненная змея, или огненное чудовище!

Я зажмурился. Все исчезло. Я очутился в какой-то пустыне; в каком-то мрачном, черном мире с багровыми, изодранными облаками, с желтым небом, облитым ядом и кровью. Все предметы носили на себе отпечаток ужаса и разрушения, и между тем, на каждом из них рисовалось юное,

прелестное, цветущее лицо Марии!

Глаза мои вдруг открылись. Смотрю, — я в западных воротах Смоленского кладбища; мой демон возле меня.

О! надобно видеть картину, которая представилась тогда глазам моим. Надобно видеть эту белую, снежную равнину, облитую огненными искрами! и потом перерезанную во всю длину свою широкою, разноцветною гирляндою из крестов, освещенных яркими лучами заходящего солнца! Все кладбище казалось белюю, тонкою скатертью, развернутою для какого-то пиршества. Души усопших, в виде прелестных гениев, увенчанных розами и лилиями, сплетясь руками, сидели на своих могилах.... А там, за этою широкою, пестрою гирляндою возвышались угрюмые, печальные монументы и, подобно грозным призракам, задумчиво смотрели на своих юных собратий!.. В конце зимы, когда все еще спит в холодных объятиях мороза, когда вся природа погружена еще в мертвое, железное оцепенение, встретить вдруг юную, прелестную, живую весну, осыпанную цветами и зеленью, — и где же? — там, где все должно быть пусто, дико, однообразно; где и среди самого роскошного лета, среди самой цветущей, юной жизни, нет ни лета, ни жизни... на кладбище! О, надобно видеть эту картину, говорю я, чтобы вместить ее в душе своей!

Если бы я был в другом расположении духа, эта картина возвысила бы меня до самого неба. Но теперь... О, что я мог теперь чувствовать, кроме тоски, ревности, отчаяния, жажды крови и разрушения!... Мой демон схватил меня за руку и повлек через могилы на средину кладбища. Я повиновался, как слабый ребенок.

Два крестьянина, напевая заунывную песню, копали кому-то могилу. Мы подошли к ним. Я сел на груды набросанной земли, мой демон стал против меня, и, сложив крестобразно свои руки, устремил глаза на дно могилы.

Мне казалось, что я пережил целую вечность. Каждая секунда последних четырех часов моей жизни растянулась на тысячи столетий. Душа моя столько перечувствовала в это время, что ей не оставалось уже ничего в здешнем свете. Последнее звено, соединявшее ее с жизнью — лопнуло;

цель стерлась... Все, чем жила она в этом свете, все, что имела, что могла иметь в этом свете — исчезло невозвратно; остались только безжизненные, черные, обгорелые развалины... только полусгоревший костер, разрушенный внезапным порывом буйного ветра. Сколько надежд, сколько будущего счастья, сколько будущих блаженств сгорело на этом костре!

Вдруг лопата одного из могильщиков ударилась о что-то твердое.

— Гроб! — сказал могильщик, приподняв немного лопату.

— Копай правее! — отвечал равнодушно его товарищ, и они снова принялись за свою работу.

Я машинально взглянул на дно могилы и увидел высунувшийся из земли угол полусгнившего гроба. Один из могильщиков ударил по нему своею лопатою; земля осыпалась; гроб высунулся еще более. Могильщики задумались.

— Что нам теперь делать? — сказал один из них.

— Попробуем здесь! — отвечал другой, запустив свою лопату шагах в четырех от гроба.

Между тем, мой демон подошел к самому краю могилы. Могила вдруг с шумом обвалилась и открыла гроб совершенно. Казалось, он уже стоял тут несколько десятков лет.

— Вскройте крышку! — сказал я могильщикам.

Они посмотрели на меня и начали закидывать гроб землею. Я бросил им все бывшие в кошельке моем деньги. Крышка слетела.... Предо мною лежала Мария. Те же черные волосы, те же роскошные, густые кудри, та же выразительность в лице, та же коварная улыбка на устах... недоставало только румянца, этого нежного, юного румянца, который так шел к черным, огненным глазам ее, всегда блиставшим искрами пламенной, неподдельной души.

Я взглянул на нее, и — остолбенел. Я забыл уже, что видел ее не более, как четыре часа тому назад, исполненною жизни и здоровья; но мне казалось странным, как могла она умереть прежде меня; умереть, не простившись со мной, не взяв меня с собою! Моя ревность кончилась; смерть заглаживает все. Я был уже так утомлен, так истерзан, так из-

мучен, что не мог более ничего чувствовать, кроме своей потери, кроме этой тихой, безотчетной грусти, которая обыкновенно следует за бурными волнениями.

Мария была одета в белое платье; на голове ее лежал веночек из белых роз. Казалось, она только что уснула.... На правой руке ее блестело мое кольцо. Я спустился в могилу и наклонился к самому гробу. Могильщики, опершись на свои лопаты, стояли один возле другого и безмолвно смотрели в лицо усопшей. Безумцы дивились, как могла она так долго сохраниться от тления! Мой демон стоял в головах ее.

— Мария! Мария! — сказал я тихим голосом, — как безумно играла ты нашу судьбою!..

Из груди моей вылетел тяжелый вздох, — первый вздох во все время страдания!... Грудь моя облегчилась; на глазах блеснули слезы. Я взял Марию за руку и — — — вдруг вся она рассыпалась.... Я держал в руке своей холодную кость безобразного остова.

Гроб наполнился прахом, костями и какою-то жидкостью. На месте ангельской, убранной цветами головки чернелся отвратительный, изъеденный червями череп; там, где были алебастровые пышные перси, — лежала безобразная грудка костей; где вились прелестные, шелковые кудри, — валялась мочка включенных волос; там, где некогда горели черные огненные глаза, — теперь гнездились гробовые черви; где были полненькие, пухленькие ручки, торчали отвратительные когти....

Вот весь твой памятник, Мария! все части твоего прервосходного целого, которым ты так тщеславилась! — — где же твое сердце, Мария, — это пламенное, живое сердце, которое всегда так билось, когда прижималась ты к груди моей? Где эта огненная, кипучая кровь, на которую ты мне всегда так простодушно жаловалась? Где вся душа твоя? — Неужели в этом отвратительном ничтожестве?..

Мария, Мария! воображал ли я когда, что обнимаю в тебе скелета!..

Мщение было достойно своего изобретателя. Я взглянул на то место, где стоял он; его уже не было. Проклятый! Он

оставил меня в самую ужасную минуту!..
Я очнулся.

— — Бал уже начался. Комнаты кипели народом. Старики-юноши и юноши-старики играли в карты, молодежь прыгала, пожилые женщины сидели, сложа руки, и зевали; пожилые мужчины прохаживались по комнатам, официанты суетились — — — все были ужасно веселы!! Один я не знал, что делать от скуки.

Подхожу к карточным столам, — глубокое молчание, угрюмые, важные лица, неподвижные взоры, исписанное сухо и монотонные, технические возгласы... Откуда человек берет столько терпения, чтобы веселиться таким образом!

Иду к танцующим, — шаркотня, звон шпор, полуразговор-полушепот, румяные щечки, нафабранные усы, прерывистое дыхание... Девицы жеманятся, перебирают ножками, грациозно улыбаются, оправляют свои наряды, плывут, летят, вертятся, прыгают; мужчины вытягиваются, важничают, топают ногами, взбивают свою прическу, повертываются, охорашиваются, сыплют заученными островами... И все это шумит, гремит, вьется, порхает, кружится, толкается, пляшет, беснуется... неизъяснимое наслаждение!

Приближаюсь к сидящим дамам.... За десять шагов уже веет сном! А меня совсем не для сна сюда затащили!

Что делать? Куда идти: — в буфет.... иду в буфет; выпиваю стакан лимонада, — нет облегчения, выпиваю еще стакан, — все тщетно. Скука выглядывает со всех сторон, — из бутылок, из столов, из карт, из музыкантов, из гостей.... Вина я не пью, жалко! — Вино — душа балов. Поэтому-то они так и утомительны в *хорошем* обществе.

Выхожу из буфета. В дверях мой демон.

Я обрадовался этой встрече.

— Развесели как-нибудь!

Демон посмотрел на меня, нахмурился и — исчез. Я заметил, что он не в духе и уже раскаялся в своей неосмотрительной просьбе, как вдруг он снова явился предо мною с целым беремем* человеческих черепов и самую сатанинскую улыбку на лице. Смотрю вокруг, — половина гостей без голов.... Я говорил, что мой демон не умеет шутить по-человечески.

— Что же из этого будет? — спросил я его в недоумении. Он указал на диван. Я сел, придвинул к себе круглый стол и ожидал развязки. Демон разложил по столу черепа и сел против меня. В комнате, кроме нас, не было ни души.

Мы начали! —

Но 1. Череп *кокетки*. Посмотрим, что в этом черепе... Он так красив снаружи! Что это ? Двадцать две заученные мины, 164.000 вздохов, миллион грациозных улыбок, три черных пятнышка, и — только. «Где же все ее победы и завоевания?» — спросил я демона. Он указал на самое дно черепа, и — я увидел несколько мыльных, разноцветных пузырей, которые тотчас же лопнули. Странно! Посмотрим, что будет далее.

Но 2. Череп *ученого*. Тут что? Десять тысяч систем и ни одной мысли. Ну, я это знал и прежде! — Дальше?

Но 3. Череп *подъячего*. А! эту дрянь, я думаю, можно оставить в покое! — Известное дело, — чему быть в черепе подъячего, кроме взяток и законов!... Впрочем, взглянем! — У! какой черный.... Нет, нет! лучше в сторону! Что там еще?

Но 4-й. А! череп моего *задушевного друга и приятеля*! Милости просим ! Однако, посмотри, пожалуйста!.. У этого человека, кажется, совсем нет затылка. Боже мой, неужели у него два лица!! Я этого не знал еще! Хорошо! — На первый раз довольно. Придвинь-ка этот!

Но 5. Череп *Поэта*. Это довольно любопытно! Посмотрим, что за зверь сидит в этом черепе!

Но едва коснулся я до этого черепа рукою, как вдруг из него вылетело небольшое голубоватое пламя, озарило всю комнату необыкновенным светом, исчезло и оставило нас

* Охапкой.

в каком-то прелестном, сладостном сумраке. Я взглянул с упреком на своего демона. Он вздохнул, я также... Череп выпал из руки моей и с глухим стоном покатился по столу.

Но 6. Череп *Стихотворца*... словарь рифм, несколько подготовленных экспромтов, 42 послания к ней, к другу, к трубке табаку, к моему гению, 200 начатых и неоконченных поэм, 5° холода, способность согреваться чужим теплом, и, наконец, на самом лбу клеймо токарной фабрики... Понимаю!

Но 7. Это что за череп? — У! какой горячий! Нельзя и дотронуться! Посмотрим, что в нем такое! — — — Дым, огонь, кипяток, пузыри, треск, шум, чепуха.... Да тут и не разберешь ничего.... А! это череп *18-летнего юноши*!

— — — Это что еще? неужели также человеческие головы? Боже мой, откуда ты набрал столько уродов?.. Понимаю, понимаю! — это коллекция *замужних и женатых*!

Но 8. Череп *старика*. Хорошо, что не старухи! ни за что бы не стал рассматривать! Ну, что такое в этом черепе? — Беспокойство, подозрение, страх, недоверчивость, мешок с золотом!.. блюдо крема с ванилью и ...82 года с половиною.

Но 9. Череп *светского молодого человека*... Французско-российский словарь, несколько страниц из новейших романов, напев какой-то песенки, модная прическа, два *rendez-vous* и последняя кадрили...

Кстати!

Но 10. Череп *светской девушки*... Галопад*, черные усы, аксельбанты, блондовое платье, завтрашний концерт, свадьба кухни, пять женихов и искусство сохранять цвет лица до глубокой старости...

Но 11. Череп... (вставьте имя вашего врага, добрый мой читатель!). Здесь просто нуль!

Но 12. Череп... какой красивый! Чей это? — А! нашего общего знакомого, члена всех зал и гостиных, *преданнейшего слуги* встречного и поперечного... «Тут, наверное, чистый сахар на розовом масле!» — сказал я, протягивая к че-

* Быстрый танец (также галоп).

репу свою руку. Демон коварно улыбнулся. Вдруг что-то зашипело, и в ту же секунду из черепа выставилась змеинная голова, вытянулась, посмотрела на меня, и — скрылась.

— Довольно! — воскликнул я, отодвигаясь в сторону, — этак, пожалуй, еще беду наживешь! Что нам теперь делать? Который час? Боже мой, еще нет и двух! Надобно же как-нибудь *убить* время!.. А! прекрасная мысль. Сварим из этих черепов похлебку! Ведь варят же румфордский суп*. Кажется, хозяева их совсем не заботятся о своей потере, следовательно, мы этим никого не обидим. Достань скорее жаровню и кастрюлю!

Демон исчез и чрез минуту явился со всем нужным прибором.

— Все говорят, что люди ни как не могут быть довольны самими собою, — сказал я. — Посмотрим, справедливо ли это! Достаточно ли будет в этих черепах питательных соков, чтобы накормить общество людей, которое они сами составляют! Однако, мы этак надымим здесь! — присовокупил я, взглянув на жаровню. — Хозяин, верно, будет не слишком нами доволен!

Демон подал мне сигару. Я закурил ее — — сигарочный дым тотчас поглотил весь несносный запах; и среди этого благовонного дыма мы принялись за свою работу.

— Итак, мы угостим этих людей, которые здесь толпятся, супом из их же собственных голов. Во 1-х, надобно, чтобы этот суп был как можно питательнее. Взгляни, как эти люди утомлены! Впрочем, не худо быть поэкономнее, — чтобы достало припасов. Половину черепов хоть брось! С которых же начать нам, мой демон?... Как ты думаешь? В каких черепах более питательности? Вот череп кокетки, вот череп стихотворца, вот череп старика, судьи, светского молодого человека, светской молодой девушки, доброго супруга, критика, картежника, берейтора, откупщика... Как ты хо-

* Суп для бедных из крупы, кукурузы, копченой селедки (или картофеля), сухарей, воды и уксуса и т.п., придуманный американско-британским ученым, политиком и изобретателем Б. Томпсоном, графом Румфордом (1753-1814).

чешь, а мне кажется, из всего этого нам не выжать ни капли питательности! Разве взяться за череп ученого? И тут плохая надежда! Посмотри, какой сухой. Впрочем, попробуем. Надобно же с чего-нибудь начать!

Между тем, мой демон, поставив на жаровню кастрюлю с водой, хлопотал около самой жаровни. Вода забила белым ключом. Я бросил в нее череп ученого и закрыл кастрюлю крышкой. Через полчаса кости разварились совершенно, но вода оставалась водою... Только на поверхности плавало небольшое масляное пятнышко. Плохое утешение!

— Посмотри, какой славный бульон! — сказал я, улыбнувшись демону, — таким супом и гусей уморишь с голоду!

Демон нахмурился.

— Нечего делать! Бросай в кастрюлю половину черепов! из такой кучи что-нибудь да выварится же, наконец! Бросай всех замужних и женатых!.. Они, кажется, такие тучные!

Кастрюля наполнилась черепами.

— Опять беда! — сказал я, взглянув на жаровню. — Огонь почти совсем потух. Чем разварим мы теперь столько костей?

Демон схватил череп 18-летнего юноши и бросил его в жаровню. Уголья зашипели, затрещали; огонь вспыхнул с новой силой и обхватил всю кастрюлю. Вода забила через края.

— Довольно, довольно, мой демон! Этак, пожалуй, вся вода выкипит! Смотри! Ни одного черепа уже не видно, — все разварились; а бульона все еще нет. Помешай немного своею ложкою — нет ли осадки на дне?

Демон помешал воду, на поверхность выплыл кусочек жира и снова пошел ко дну.

— Подай-ка сюда свою ложку! Я отведаю! вода как вода! все напрасно! Нечего делать! Вот тебе целковый, — купи в Милютиных* бульона!

Демон взял целковый и исчез.

* Имеется в виду «Милютин ряд» торговых зданий на Невском проспекте в Петербурге.

«Правду говорят, что без денег и супу не сварить! — подумал я, оставшись один. — А кажется, сколько одного мозга в этих черепах! Если бы на их месте были теперь телячьи ножки, какое славное кушанье я бы состряпал! Господа! неужели телячьи ножки перещеголяют все эти головы!»

Демон явился с 2 фунтами крепкого бульона; я положил бульон в кастрюлю, и через несколько минут суп был уже почти готов, — недоставало приправы.

— За этим дело не станет! — сказал я. — Впрочем, не худо прежде отведать! У! какой соленый! Нельзя ли хоть подсластить как-нибудь! Все будет лучше! Нам же, сочинителям, не учиться этому! — — — А! — Знаешь ли? обмакни в бульон этого сахарного человека, который всегда так сладко говорит! Только поосторожнее, — чтобы не пересластить еще!

Демон схватил целую дюжину сахарных черепов и бросил их все в кастрюлю.

— Что ты делаешь! — закричал я, вырвав из рук его ложку, чтобы вытащить черепа вон. — Теперь наш суп совсем не годится!

Демон отвел меня от кастрюли. Через пять минут вся дюжина растаяла. Я отведал; суп был солон по-прежнему; сладости не прибавилось ни капли.

— Черт возьми! куда же девался весь сахар! — сказал я в изумлении. — Неужели и он был только на словах?

Демон кивнул утвердительно головою.

— Этак мы ничего не сделаем из этих голов! — продолжал я, измеряя их глазами. — Попробуем еще как-нибудь придать супу немного кислоты! Не годится ли для этого хоть череп журналиста! А! вот еще череп старой девушки! — клади туда же! хорошо! Помешай немного! Дай устояться! теперь отведаем!.. Все то же! Когда успели промотаться эти люди! Нечего делать! Вот тебе еще целковый! купи полдюжины лимонов! Впрочем, погоди немного: не придется ли еще чего прикупить?.. Попробуем положить в наш суп немного перца! В каком черепе, по твоему мнению, более перца? Я думаю, в черепе педанта! При встрече с этим человеком я никогда не мог удержаться от чиханья! Клади же

этот череп! Хорошо! Ну, что вышло? Все то же! Лети!..

Демон исчез и возвратился с перцем и лимонами. Наш суп поправился.

— Слава Богу! — сказал я. — Теперь остается только сделать бульон бесцветным. В этом случае, кажется, не придется уже более рыскать по лавкам за припасами. Клади все черепа... Все, все, без исключения, — кроме черепа Стихотворца. Он еще пригодится нам! Хорошо! Скажи теперь, какого цвета наш суп?.. Хоть насквозь смотришь!

На лице демона блеснула коварная улыбка. Я заглянул в кастрюлю, — суп готов. Скольких хлопот он нам стоил! Люди, люди! чем гордитесь вы, когда из ваших голов нельзя состряпать даже и порядочного супа!

— Убирай же скорее всю эту посуду; а чтобы суп скорее простыл, кинь в него череп Стихотворца!

Демон повиновался. Но едва череп выскользнул из руки его, — весь наш суп, вместо того, чтобы остыть, — замерз совершенно. Конец стоит начала!

Мы посмотрели друг на друга, и — улыбнулись. В кастрюле было одно желе.

— Что нам теперь делать с этим мороженым? — сказал я после некоторого молчания. — Пошел, раздай его бедным!

Демон схватил все в охапку, и — исчез. От всей нашей работы в комнате остались только облака табачного дыма.

Я сел на диван и закурил свою погасшую сигару. Через несколько минут вошел N. N. Мы раскланялись.

— Что вы тут сочиняете? — сказал он, протирая платком свои очки.

— Уже кончил! — отвечал я, отодвигаясь немного в сторону, чтобы дать ему возле себя место. — Да все что-то не клеится!

— То-то и беда, что вы все делаете на скорую руку! — возразил он. — Поучитесь-ка у нас, стариков! Мы сделаем что-нибудь, да потом опять раз пять переделаем, — да еще и того мало... Отложим все это в сторону, да месяца через два и посмотрим: хорошо, так и делу конец; худо, так и опять за дело! Вот как! А вы что еще доброго до сих пор сделали?

— — — — —

— — — — — и т. д. выше и выше!

Я слушал его с обыкновенным своим хладнокровием, как вдруг почувствовал ужасное давление в висках. Смотрю, — мой демон трудится уже над моим черепом.

— Послушай, негодяй! — закричал я ему. — Знай же меру!..

Демон исчез. Оглядываюсь, — мой старик нахмурился. Эти люди вечно принимают все на свой счет!

15 Апреля 1834.

Алексей Тимофеев

**УТРЕХТСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
1834 ГОДА**

Быть может, не совсем правильно — обнаруживать домашние дела какого бы то ни было города, дав подписку и честное слово не рассказывать о них никому в свете, но я обязался только не рассказывать. Мне кажется, что я могу описать их, не нарушая своего обещания.

Я жил в трактире Золотого Тельца, находящемся на углу площади и одной из самых многолюдных улиц Утрехта. Одна из двух занимаемых мною комнат была моей спальнею, и кровать моя стояла у заколоченной двери, ведущей в смежную пустую залу. В первую ночь моего пребывания в Утрехте, сон мой вдруг был уничтожен глухим шумом, раздавшимся в этом покое от легкого шарканья ногами и смешанных, подавленных голосов. Зала была освещена, и свет кенкетов, пробиваясь сквозь щель двери, рисовал поперек моего одеяла яркую желтую черту. Я не мог, однако ж, слышать ни слова; но, очевидно, что-то таинственное и непозволительное происходило в моем соседстве.

На следующее утро я спросил об этом мою трактирщицу, толстую и красную голландку, которая управляла домом со смерти своего мужа. Она смутилась и отвечала мне невнятно, что это ничего; что в зале собираются *иногда* ее друзья, чтоб потолковать о своих домашних делах.

Я не расспрашивал далее. Однако ночные собрания повторялись чаще, нежели предполагал это смысл наречия *иногда*, и с некоторого времени становились шумнее. Днем я замечал необычайное движение между женщинами. Мужчины казались спокойными, что я приписывал твердости их характера и голландскому хладнокровию; но женщины бегали, разъезжали по улицам, перешептывались в обществах, отводили друг друга в сторону и что-то взаимно себе сообщали, остерегаясь некоторых лиц своего пола, не пользовавшихся их доверием. Я заметил по газетам, которые читал всегда с большим вниманием, что в последнее время очень часто приезжали в Утрехт из Парижа г-жа Дюдеван, известная под именем Жоржа Занда, какая-то директриса журнала «*La tribune des femmes*»* и другие лица, принад-

* «Женская трибуна» (фр.).

лежащие к той же беспокойной партии. В собраниях, происходивших в пустой зале, часто разговаривали по-французски, раздавался чистый парижский акцент и слышались имена — Валентина, отец Анфангон, Лелия, Жак, Андре, Эме-Мартен, вместе с титулами — госпожа бургомистерша, госпожа советница и прочая, и прочая. Нельзя было не видеть, что тут действуют возмутители и что какой-то ужасный заговор составляется против блага и спокойствия общества.

— Мне какое до этого дело! — сказал я про себя. — Я здесь иностранец!

Однако любопытство и весьма естественное опасение за самого себя заставили меня прорезать днем маленькую скважину в таинственной двери против моего изголовья, в той мысли, что я, может быть, увижу действующих лиц этой черной драмы или услышу, о чем они тут совещаются.

Ночью, 14 сентября (по новому стилю), часу в двенадцатом, я сидел под окном. Повсюду царствовала глубокая тишина. Луна плыла по совершенно ясному небу. Тихий ветер едва-едва колыхал тополями, растянувшимися стройною шеренгою кругом площади. Через две улицы, печальный, мрачный колосс, соборная башня, по временам переговаривался с тишиною ночи заунывными звуками своих часов. Вдруг послышался сильный шум в зале, которая, по-видимому, давно уже наполнялась заговорщиками. Я бросился на постель и приставил глаз к скважине.

Представьте мое изумление, когда я увидел там одних женщин! Они казались в страшном волнении.

Я не верил своим глазам и прислонил к отверстию ухо.

Гул общего разговора не позволял слышать ничего такого, что бы обнаружило предмет их совещания. Некоторые отдельные фразы, произнесенные в мгновенных промежутках тишины, одни долетали до моего уха.

— Можете ли вы представить такого тирана!

— Деспот!

— Мучители! тигры! грубияны! гордецы!

— Скупец! Да какой скупец!

— Вот, например, несчастная Каролина: один изменил ей, другой ее ограбил...

— Предатели!..
— Однако ж, надобно быть справедливыми .
— Но вы же сами говорите, госпожа бургомистерша, что и у вашего есть любовница?
— Есть; ах, есть! Вчера я открыла у этого изменника еще двух голубушек.
— Да что ж она не приходит? Уже за полночь.
— Да она, видно, нас обманула!
В зале раздался страшный шум. Все закричали:
— Вот и она. Вот и она! Наша волшебница!..

Должно знать, что в Утрехте по сию пору упражняются в чернокнижии, и многие из посвященных в тайны сокровенных наук обладают удивительными секретами, в которые наши академии не верят. Тем хуже академиям!

Я скорее посмотрел в скважину, но не мог завидеть их жданной гостьи. Угол большой голландской печи скрывал ее от луча моего взора. Я услышал только сишный, зловецкий голос:

— Что ж, вы хотите непременно...?
— Хотим! хотим!
— Чтобы все мужчины провалились сквозь землю?
— Да, да! Прочь тиранов! Долой всех этих деспотов, изменников, обманщи...

Крак! я провалился сквозь землю.

Желание коварных заговорщиц исполнилось во всей точности, потому что не только я, — все мужеское народонаселение Утрехта, с бургомистром, ратманами*, синдиками, комендантом и городовыми, провалилось вместе со мною. На земле, в Утрехте, остались одни женщины.

Революция, в духе г-жи Дюдеван, совершилась в одно мгновение и с неслыханною жестокостью. На целом пространстве славного города Утрехта женщина была освобождена от власти мужчины.

Я узнал после обстоятельства, которые здесь описываю.

Едва весть об ужасном происшествии разнеслась по го-

* Члены магистрата.

роду между теми, которые не участвовали в изменническом заговоре, все пришло в движение.

— Мужчины провалились сквозь землю! — Как? — Неужели? — Посудите! — Быть не может!

Изумление, смех, восклицания, толки, догадки; опять смех, опять восклицания: многие еще не могли представить себе всей крайности настоящего положения. И в самом деле, в этом положении было столько странного, столько смешного, столько непонятного, что все прочее невольно терялось из виду. Представьте только себе: мужчины провалились сквозь землю!

— Слышали? — Слышала! — Вставай, Настинька! — Что случилось? — Ты помрешь со смеха! — Но, моя милая, говори же скорее! — Представь себе... ха, ха, ха! — Ну, мой друг? — Мужчины провалились сквозь землю. — Ты с ума сошла? — Ей-Богу, клянусь тебе! Ни одного мужчины во всем городе и, говорят, даже во всем свете! — Ах, как это странно! Я не верю. — Ха, ха, ха! Спроси маменьку!...

Кухарки в кухнях, горничные в девичьих, торговки на рынках, магазинщицы в магазинах, кумушки на улицах, благовоспитанные девицы в своих уборных, молодые дамы в своих гостиных, старухи где ни попало, — все затолковало, зашумело, загудело, зашишикало — мужчины провалились сквозь землю! Прошло утро, прошел день, прошел вечер, — разговор все плодovitее и плодovitее. Наступила ночь, — первая ночь без мужчин на свете: никто, и самые даже заговорщицы, глаз не смыкают. Загорелась заря, блеснуло солнце, запели птички, растворились окна: улицы пусты. В модных магазинах появились новые платья *à la муж-чины провалились сквозь землю.*

— Видели? — Видела! — Какого цвета? — Темно-черные! — Должно быть, очень мило! — Я не видала ничего лучше! — *Маман, маман*, поедemте скорее в магазин! — Некому лошадей заложить, друг мой. — Пойдемте пешком! — Как скучно! К вечеру все раскупят. — Мы сегодня должны оставаться без обеда; одолжите вашего повара. — Он исчез вместе с прочими. — Слышали вы, милая Сашенька? — Что такое? — И повара провалились сквозь землю! — И парикмахер?

— И высокие лакеи? — И магазинщики? — И кондитеры? — Все, все, все! — Ха, ха, ха! — Что вы смеетесь, бестолковые? — Ах, я лишилась супруга! — Ах, я потеряла брата! — Ах, у меня исчез мой жених!.. — Ах!.. — Ах!.. — Ах!

И все заплакало.

— Какая нынче мода? — бледное лицо, на глазах несколько слезинок, распущенные локоны для девиц, большие чепсы для дам, платья à la мужчины провалились сквозь землю для всех. — Как это вам к лицу, Шарлотта! — Нет, вы всегда такие добрые!

— Нельзя ли выдумать еще чего-нибудь? Пожалуйста. Вы так изобретательны. — Ах, к чему все это? — Что с вами, мой ангел? — У меня третий день истерика! — У меня спазмы! У меня все из рук валится! — Я спать не могу! — Мне снятся ужасные сны! — Я не знаю, что делать! — Я зла на целый свет! — Мне никак не хочется одеваться! Мужчины провалились сквозь землю!

Между тем, мало-помалу все начало приходить в обыкновенное положение. Кухарки заменили поваров; прачки сели на козлы, садовницы пошли обрезать деревья, огородницы отправились копать землю, парикмахерши принялись за щипцы, супруги плотников за топор. С необходимостью спорить нельзя!

Но, между тем, с каждым днем лица прелестных обительниц Утрехта, — они в самом деле прекрасны, — начали становиться печальнее и печальнее. Мужчины провалились сквозь землю! Боже мой, для кого же одеваться? С кем танцевать? Кому нравится? Над кем смеяться? Для кого быть любезными? Кого водить за нос? Кому кружить голову? под чье крылышко приютиться, потеряв свои прелести? К кому писать билетцы на розовой бумажке? Кому передать первый девственный поцелуй, с каждым днем более и более тяготеющий на устах красавицы? Для кого просиживать до утра возле отворенного окна? Кому сказать: «Милостивый государь, теперь все кончено между нами!», чтобы на другой день сызнова начать то, что вчера было кончено, и покрепчежать руку в знак прощения? Для кого плесть шнурочек, — по приказанию маменьки, или вышивать бумаж-

ник, — по неотступной просьбе старшей сестрицы? Кого смущать красивым лорнетом на гулянье? На чью руку опереться, садясь в карету? О ком думать, когда никто нейдет в голову? Перед кем уронить перчатку, чтобы видеть, скоро ли ее подымут? Перед кем проговориться нечаянно, что не достали билета на следующий маскарад? С кем составить маленькую партию в вист, чтобы иметь удовольствие выиграть по праву женского пола? Кому приказать принести календарь из кабинета или платок из уборной? Для кого падать в обморок или страдать биением сердца? Кто станет лечить мигрень турецкими шалями и колотье в боку брюссельскими блондами? Кого упрекать от скуки в холодности? Кому отсчитывать нежные супружеские ласки, чтобы как-нибудь убить время? После кого остаться вдовою?.. О ужас! скажите, что вы сделали! Да, теперь нельзя даже надеяться быть вдовою!.. О, женщины, женщины, то есть, о, утрехтские женщины, каким пером опишу я все ваши потери и лишения? Вы их поняли, наконец, и глубокая, искренняя, неуладимая печаль распространилась по целому городу Утрехту, и вся природа покрылась трауром вокруг города.

Грустно, неизъяснимо грустно видеть землю лишенную сильнейшей части души ее, опустевшую среди всего своего великолепия. Утро без зари, заря без солнца, солнце без прежнего блеска; в рощах одна темнота; в пении птичек одно щебетание; среди прелестного луга, среди роскошных цветов тишина и безмолвие; на гуляньях запыленные деревья; в полях пустые дороги; в городе бездушные стены; день унылый, вечер пасмурный, ночь тихая-тихая, как могила. Не слышно ни веселых песен земледельца, ни восклицаний ремесленников, возвращающихся с работы, ни громкого топота лихой четверни, запущенной искусною рукою усатого голландского кучера. Вселенная кажется пустынею.. Где-где мелькнут два-три печальных лица бедных затворниц, отыскивающих *чего-то* в каждом чулане, в каждой забытой беседке, в каждом полустертном следе ноги; или два-три пылающих лица новых кучеров в чепце, отчаянно борющихся с лошадьми, порывающимися в разные сторо-

ны. И снова все тихо, и снова все пусто, и снова грустно, — грустно, как в тяжелом предчувствии. По временам послышатся гармонические звуки фортепиано или арфы, вольются звонкою струею в струи атмосферы, и тотчас же улетят погребальною песнею, как бы страшась нарушить всеобщий траур, как бы чувствуя, что для гармонии необходима разность чувств, понятий и полов. По временам раздастся резкий спор двух кумушек, и, нарушив на минуту всеобщее безмолвие, со стыдом скроется в эхо пустых стен, как бы чувствуя, что теперь не об чем и спорить. И снова все тихо, и снова все пусто, и снова грустно, — грустно, как по отъезде любовника.

Но, как бы то ни было, все мы созданы для жизни, а жизнь — деятельность. Законодатель над законами, ученый над книгами, герой на биваках, старуха за пряслицей, старик за мешком с золотом, женщина среди своего хозяйства, девушка перед зеркалом, ребенок за куклами. Для всякого, своя жизнь, для всякого своя деятельность. Дерево сохнет, лишась своих соков, человек умирает, будучи не в силах быть деятельным. Точно так было и там: женщины, оставшись одни, сначала посмеялись, потом погоревали, и наконец должны были решиться что-нибудь делать. Природа откажет нам во всех дарах своих, если мы начнем пренебрегать ею.

Обыкновенные домашние занятия, как я сказал уже, скоро начались своим порядком, тем более, что голландки — ужасные хозяйки. Но общественная жизнь так разнообразна, так изобретательна на нужды, так плодovitа на необходимости! Хотя и существует у нас, на Руси, старинная поговорка — «Курица не птица, женщина не человек», но это одна острота наших балагуров-прапрадедушек, которая отнюдь не прилагается к славному городу Утрехту, и, по понятиям голландцев, женщина точно такой же человек, как мы с вами. И вот, мало-помалу, партия мятежниц, заговорщиц, уничтожившая мужчин, начала покорять себе умы и намекать о свободе женщины, о правах женщины, о общественном законодательстве, о преобразовании семейства. Вскоре все заговорило другим языком: «Прежние законы писа-

ны мужчинами! Прежние законы дышат тиранством! Прежние законы обгарены кровью! Мы женщины; для нас нужны другие законы. Мы остались одни: мы докажем, что можем жить одни! Мы докажем, что такое женщина! Долой прежнее рабство! Да здравствует г-жа Дюдеван! О чем мы плакали? Чего мы лишились? Какими правами пользовались мы в прежнем обществе? Что у нас целовали ручки, что нам подавали плащи, что к нам относились с уважением? Не хотим лицемерства! Не хотим изменников, грубиянов, эгоистов! Удостоверим, что можем управлять самими собою! Мы никогда не были так счастливы, как теперь! Проклятие всем мужчинам! Не хотим мужчин! Мы лучше мужчин!..» И пошло, и пошло.

Ну, а девушки? Боже мой, до девушек ли теперь!

Мужчине стоит решиться, женщине только задумать; мужчине первый шаг, женщине первая мысль. «Что мы, в самом деле, такое? Долго ли нам еще оплакивать обманщиков и деспотов? Завтра же первое заседание. Долой их гнусные законы! Долой мужскую аристократию!

Начались заседания.

Первое заседание, — о том, в каких платьях собираться. Все женщины, до девяноста двух лет, объявлены молодыми.

На другой день: так как вперед не может быть ни девиц, ни замужних, ни вдов, то титул старой девки отменяется навсегда.

На третий: установлена главная цензура на платья.

Через два дня: ходить всем в бархатных платьях со шлейфами.

Через два дня: скучно! Предоставить покрой платья на произвол каждой, с дозволения, однако ж, главной цензуры.

Через два дня: хотя форма платьев и оставлена на произвол каждой, однако, как общественный порядок опирается на моду, то, по крайней мере, цвет должен быть у всех одинаковый.

Через день: свободной женщине приличнейший цвет — белый.

Через день: скучно! Лучше розовый!

Через день: запрещается, под опасением строжайшего наказания, всем женщинам старше сорока лет употреблять розовый цвет.

В этом заседании большинство состояло из молодых женщин: они-то, сговорившись между собою, определили этот знаменитый закон, который произвел первые неудовольствия в свободном женском гражданстве. Все женщины старше сорока лет, исключенные интригою из розового цвета, особенно бабушки, вознегодовали на законодательное собрание и начали отлагаться.

— Маменька, сегодня заседание! — Ах, мой друг, я так расстроена, что не могу из комнаты выйти. Зачем мне ехать туда и слушать эти вздоры! — Бабушка, вас зовут в заседание. — До заседаний ли мне, душа моя! Чепца не могу надеть на голову. Вишь, умницы, хотят одни ходить в розовом! — Тетушка! давно десять часов; разве не поедете в заседание? — Мне уже наскучило ездить Бог знает зачем: поезжай, ангел мой, за меня. — Но как же, тетушка? — Ничего, ничего, поезжай! Кричи, что розовый цвет всеобщий. Госпожа бургомистерша держит нашу сторону. — Маменька, вас непременно требуют. — Слишком много умничают! Прикажи сказать, что я нездорова. — Бабинька, за вами прислали во второй раз! — Хотя бы и в третий: не поеду! Нарушают, матушка, основной закон, которым все объявлены равно молодыми. — Тетушка, вам приказано сказать, что все расстроится, если вы не приедете. — Мне нужды мало. Как хотят, так и делают. — Маменька, вам приказано сказать, что на вас сердятся. — Слишком много чести; не я начинала. — Как же, маменька? — Так же, друг мой. Я ни во что более не мешаюсь. Да эта аристократия так называемых молодых женщин хуже мужской! Да это неслыханное притеснение! Зависть! злоба! разбой!

Что тут долго толковать! Партия старых дев, которая в Утрехте чрезвычайно многочисленна, присоединилась вся к недовольным, и вдруг все закричало в один голос: «Зачем нам законы? Разве мы дети, чтобы водить одна другую на помочах? Между женщинами нет государственных преступников! Не надобно законов! Пусть всякая судится домаш-

ним судом! Как вы думаете, ваше превосходительство? — Что скажет госпожа бургомистерша? — Госпожа бургомистерша объявила, что, если не отменят этого безбожного закона, она распустил собрание. Она с нами».

У девиц закипело желание восстановить искусства и художества.

— О, как это будет прелестно! — О, как это будет занимательно! — Рисование, живопись, архитектура... — Нет, нет, архитектуры не надобно. Пение, музыка, ваяние... — Ох, к чему ваяние! Столько пачкотни, столько трудов, столько пыли. — Да; это правда! Не надобно ваяния; не надобно ни архитектуры, ни ваяния! — На следующий год мы сделаем выставку. — Как это будет весело! — На следующий год? Зачем так долго откладывать? Я умираю от нетерпения! Нельзя ли через месяц? — Ни в чем не успеем приготовиться! — Как-нибудь, чтобы только поскорее! — Ну, через полтора месяца! — Я согласна. — Через полтора месяца! Через полтора месяца! — Какие же награды положим мы достойным? — Розовый венок. — Потом? — Розовую ленту. Потом? — Десять фунтов конфет! — О, как это будет весело! Как это будет прелестно! — Анетта, одолжи мне на неделю своих красок. — Ты что приготовишь, София? — Я буду петь. А ты? — Я сочиню контрданс. — Кому же розовый венок? — Достойной! — Я бегу сейчас рисовать ландшафт, который позади нашего дома. — Ты чем хочешь заниматься, Аспазия? — После скажу. — Скажи теперь, друг мой! Скажи, моя милая! Какая скрытная!..

Молодые женщины вздумали возобновить науки. Со всех сторон начались приготовления. Знаете, как готовят женщины! С чего начать? Какими науками заниматься в особенности? Всеми, всеми, исключая историю, исключая математику, исключая естественные науки, исключая медицину, исключая астрономию, исключая хронологию, исключая геогнозию, исключая еще две-три науки, для которых нужно убить столько времени, — всеми остальными!

— Ах, как хорошо писать романы! *Madame Aline*, отчего вы не напишете ни одного романа? — Не могу придумать завязку. — Пожалуйста, только без кровопролитий. — Моя

кузина вчера кончила драму. — Под каким названием? — Еще без названия. Мы отложили это до завтра. — Как жаль, что эту драму нельзя будет видеть на сцене! — Почему же? — Где теперь набрать актеров? — Дело обойдется и без них! Моя кузина вместо мужчин действующими лицами сделала собачек. — Неужели? — Ах, как это ново! Возьмите моего Жужу! — И моего Мими! — И моего Фигаро! — Я начала сегодня повесть. — Чем оканчивается? — Как вы думаете, чем кончить? — Пожалуйста, пощастливее! — Да, да, пощастливее! — Новенького! — Новенького! Что-нибудь, только новенького! — Мы с вами одного вкуса. Ах, как прекрасна наука писать новые драмы, новые романы и новые повести!

Время выставки приближается. Анетта встречается с Аспазией.

— Что твой ландшафт? — А твой портрет? — Я отложила на несколько времени. — Я также. — Скучно! — Досадно! — Вышьем лучше что-нибудь по канве. — О рукодельях не упоминали ни слова. — А рисование разве не то же рукоделие! — Ты не слыхала, каково идет Жоржеттин контрданс? — Давно забыт. — А София? — София все поет. — Так что же наша выставка? — Все отказываются! Можно ли? — Но, знаешь ли, из Парижа новые ленты привезены! — Где? Где?

И все полетело.

Между тем, как это происходило, две или три почтенные старушки, поддерживаемые неутомимую деятельностью старых дев, овладели общественным мнением, прибрали в руки бразды правления и начали судить виновных и невиновных домашним судом. Пошла потеха. Вы знаете этот род судопроизводства? Кому из нас не случалось быть в тисках его? О вы, вздумавшие пренебрегать священными обычаями света; вы, опоздавшие в новый год пятью минутами с поздравлением; вы, бросившие невзначай лишнее слово в разговор с тетушкой своего приятеля; вы, забывшие комплимент свой в столике; вы, надевавшие когда-нибудь шаль выше, нежели следует; вы, полускромные, полунасмешливые, полузастенчивые; вы, близорукие, вспльщивые, рассеянные, веселые, расточительные, скудные, ид-

ите все сюда и подписывайте имена свои! приветствую вас, братья по преступлениям, преступники по суду грозных судей наших! Но, вы скажете — увы, сколько лишились эти судии в Утрехте с тех пор, как мужчины там исчезли! Сколько двусмысленностей, сколько гнусных остроумий, сколько невежливых поклонов исчезло с ними!.. А румяные щечки, а полурасстегнувшийся башмачок, а не у места приколотый бантик, а старомодная прическа, а недоварившийся у соседки суп, а опоздавшая к обеду кузина, а заплаканные глазки, а бывшие законодательные заседания!!! Аристократия молодых взлетела на воздух, и весь женский мир приютился под деспотическое крыло своих седых правительниц.

Наступило в Утрехте время грозное, время ужасное, время, какого не знаят ни вам, ни мне, ни нашим правнукам; время, налегшее свинцовою тучею на все живущее, на все чувствующее, на все размышляющее; время, похоронившее под своими ледяными слоями последние остатки свободы человечества, — свободы воли, пощаженной и самим демоном в Еве, и самим Нероном в Сенеке. Наступило время домашнего законодательства! Восьмидесятилетняя, полумертвая, полусгнившая старуха говорила слово, и это слово становилось «правилом»; и все должно было говорить, как говорила эта старуха; и все должно было размышлять, как размышляла эта старуха; и все должно было чувствовать, как чувствовала эта старуха, которая ничего не чувствовала.

Горько было, говорят, видеть едва распускающиеся розы, еще незнакомые с прелестями весны и лета, еще не успевшие взглянуть ни на голубое небо, ни на красное солнце, ни на таинственную природу; белые, гордые лилии, спорящие красотой с самыми розами, скромные фиалки и незабудочки, покойно доцветающие весну свою, горько было видеть все это гибнущим под тяжелою, смертоносною тучею! И никто не шел на помощь; ничей отрадный голос не раздавался посреди всеобщей пустыни. Все сжалось, опустило в трепете листочки, приклонилось печально друг к другу и безмолвно ожидало решения грустной участи, — всеобщей

кончины.

Все в природе, и даже самая природа имеют свои границы, свои степени; все подлежит законам необходимости. Домашнее законодательство безгранично: домашнее законодательство — вечно движущаяся машина. Пока существуют старухи и общество, домашнее законодательство беспредельно. Судя и пересуживая своих, невольно коснешься и до чужого; а молва ловит, а молва переносит; молва имеет более подписчиков, нежели самый «Penny Magazine».

В одной части славного города Утрехта одна знатная дама в праздник надела будничную шляпку; в другой части две знатные дамы сказали, что она не умеет одеваться. В первой части все закричали, что эти две знатные дамы слишком много узнают скоро; в последней части все закричали, что это явная обида целому обществу. Первая часть объявила, что с этих пор решительно прекращается всякое сообщение с последнею; последняя часть объявила, что это еще с незапамятных времен ее первое желание. Пограничные части города затворили ворота и выставили часовых. Едва известие об этом разнеслось по предместьям, предместья немедленно приняли в этом участие. Женщина создана для крайностей. Держать средину в каком-нибудь споре для нее то же, что для сороки быть безмолвною среди всеобщего щебетания. Утрехт разделился на две стороны.

Подчиненные невольно принимают участие во всем, что касается до их правительниц; правительницы невольно принимают участие во всем, что касается до их подчиненных. Разрыв между господами разрывает все тесные связи и между их служанками; обида, нанесенная служанке, есть уже обида и госпоже ее. При всеобщем разделении Утрехта истина эта обнаружилась еще яснее. Во всех граничащих с собою частях города, которые пристали к той или другой стороне, ни одна кухарка не хотела уже выливать иначе помоев, как на неприятельскую землю; ни одна горничная — иначе выбросить сора, как на неприятельскую землю. Все, что находили нечистого, обношенного, скверного, гадкого, летело на неприятельскую землю. Часовые удвоились. Насмешки, колкости, злоупотребления тоже. Все видят нуж-

ду в переговорах; но о том никто и слышать не хочет. Дело доходит до насилия. Против силы один отпор, — сила. Утрехт превращается в ужаснейший вулкан, ежеминутно готовый брызнуть на все стороны огнем, камнями, дымом, пеплом и лавою.

Сильные порывы ветра, взрывая морские волны, открывают подводные камни и утесы; сильные потрясения души и сердца обнаруживают сокровеннейшие тайны человека. Голос всеобщего восстания, подобно бурной реке, разлился по городу. Все полетело вслед за первою мыслью; гроза заревела во всей силе: «Довольно мы терпели! Они думают, что без мужчин не можем отразить их дерзостей! Мы не дети! Забирать всех неприятельниц! Тюрьмы пусты; будет места для всех». Это говорили женщины в Утрехте. Это говорили те самые женщины, которые за несколько времени называли законы мужчин кровавыми, и которые при виде раздавленной мухи падали в обморок.

Бдение стражей усилилось, число военнопленных увеличилось. Начали вспыхивать небольшие схватки; оказалась необходимость в генеральном сражении. Все, что не имело сильного духа, бежало; все, что не могло бежать, спряталось; остались одни герои.

— Моя милая, ты идешь на сражение? — Бабушка приказала непременно там присутствовать. — Ах, это должно быть пристрашно? — Фи, мой друг! ни одного мужчины не будет. Ты не видала еще формы мундиров? — Разве станут сражаться в мундирах? — А разве можно сражаться без мундиров? — Каким же образом мы станем сражаться? — Я спрячусь где-нибудь за дерево. — Фи, мой друг! нам должно быть примером. — А ежели убьют! — Как это можно! Бабушка говорит, что до смерти сражаться не станут. — Я слышала, даже хотят стрелять из пушек. — О, нет! они давно все зарядели. — Их смажут прованским маслом! — Как это странно, мы станем сражаться! — Что же? Разве женщины не сражались прежде, да еще с мужчинами? — По крайней мере, не все! — Кузина никак не хочет! — Моя тетушка также. Бабушка на них за это очень сердится. — После сражения будет бал в честь победителей. — С кем же мы танцевать ста-

нем? — Друг с другом. — Как скучно! — Моя горничная пропала с самого утра. Они все на площади для получения оружия. — Сколько времени будет продолжаться сражение? — Я думаю, пока все устанут. — И потом заключат мир? — Без сомнения! — Не забудь взять с собою бутылочку одеколona на случай! Я от тебя не отстану.

Медленно, печально загоралась на востоке заря никогда небывалого на земле утра; медленно, печально всходило золотое солнце, и первые лучи его с изумлением остановились на копьях женского воинства. Птицы во всей Голландии оставили птенцов своих, пчелы — душистые свои соты, бабочки — цветы свои: все летело смотреть никогда не виданное сражение; вся природа устремила глаза на одно из чудес своих.

Подобно двум разноцветным, живым, усеянным блесками гирляндам, растянулось воинство по зеленой равнине; подобно ропоту волн, шумел никогда не умолкающий его говор. Грянула вестовая пушка, и ряды в беспорядке двинулись вперед, кроме перепадавших от испуга в обморок.

В первых рядах торговки; вслед за ними провинциальные дамы; по сторонам вооруженные ножами кухарки и прачки; в центре — трактирщицы; немного позади — всегда веселые горничные; в арьергарде дрожащий *beau-monde** всех девяти частей Утрехта, — для примера.

Где мне взять перо Гомерово
С звонкой лирой Аполлоновой,
Чтобы вам теперь описывать
Беспримерное сражение?
Не унылым песням горлинки
Петь победы Ахиллесовы;
Не пустынному отшельнику
Спорить с кликами народными.
Помогите, музы Греции,
Ты, живая муза Байрона!

* Бомонд, высший свет (*фр.*).

Отлетите на мгновение
От Парнаса громоносного;
Принесите мне, пустынною
Стрелы грозные Юпитера,
Красноречие Меркурия!
Страшно плыть в ладье без паруса,
Без кормила и без кормчего;
Безрассудно в час полуночи
В путь пускаться одному.
Не летят ни музы Греции,
Ни живая муза Байрона;
Нет, не мне, не мне описывать
Беспримерное сражение!

Ни звучного ура, ни ободрительного — в штыки! Новые слова, повыл восклицания. Оружие в сторону, руки вперед, и — за волосы!..

Гони природу в дверь, она влетит в окно!

Beau-monde, в смущении, направо кругом и назад; горничные с хохотом в разные стороны.

Солнце взошло совершенно; все ожило новою жизнью, — сражение продолжается. Солнце уже высоко; тепло, жарко, душно; все ищет убежища под сенью прохлады, — сражение продолжается. Скоро вечер; утомленная природа с нетерпением ждет смены небесных стражей, все смотрит на запад, — сражение продолжается. Довольно! довольно! Завтра можно начать снова! Давно уже вечер! Роса, сыро, простуда, лихорадки, горячки!.. Сражение продолжается.

— Что нам теперь с ними делать? — Я говорила, не стоило начинать! — Я говорила, этому и конца не будет! — Я говорила, все это напрасно! — Я говорила, лучше было дома сидеть! — Я говорила... — Я говорила... — Я говорила... — Помилуйте, не вы ли первые? — Я! Избави, Боже, меня от этого! Вы начали. — Вы! Нет, вы! — Я никогда не начинаю первая! — Вы начали. — Я и не думала! — Вы! — Нет, вы! — Вспомните хорошенько! Вы сказали... — Разве вы! — Я? До

того ли мне теперь! Вы, сударыня, вы! — Нет, вы! — Маленька, вступитесь за меня! Я смертельно обижена! Я не могу долее оставаться здесь! Вы, сударыня, забываете, с кем говорите! Оставьте меня в покое! — Тетушка, разве вы не слышите, как смеются над вами! — Господи, Боже мой! невозможно жить более на свете! — О, мой Карл! — О, мой Фридрих! — О, мой Эрнест! — О, мой Юлий! — О, друзья мои, друзья мои! Помните ли, как мы были всегда покойны? С каким почтением всегда к нам относились? Как мы весело жили? Как искусно умели нам угождать все? Как приятно было в обществах? — Помните? — Помните? — Помните?

Надобно непременно сочинить мужчину!

Я вздрогнул, лежа под землею.

— Новая мысль! — Прекрасная мысль! — Сочинить мужчину! — Ах, нельзя ли поскорее? Слышала ли ты, Лизетта? Хотят сочинить мужчину. — Неужели? Ах, как это будет весело! Мы сами сочиним мужчину! — Я сочиню жениха себе! — И я! — Да, и я! — И я! — Ну, так и я! — Фуй, мои милые, что за глупости! Они должны искать нас. — У меня будет военный! — У меня статский! — У меня артист! — Что толку в артистах: лучше военный! — Военного! — Военного! — Гусара! — Улана! — Драгуна! — Фи, какой вкус! что может быть лучше камер-юнкера? — У меня будет поэт! — Нет, нет, — поэты слишком дерзки!

— Ах, мои милые, нам не позволяют и думать о мужчинах! — Зачем? — Мы, говорят, девицы. — Да ведь все титулы уничтожены? — Уничтожены, а когда дело коснется до мужчин, так тут является новая аристократия; аристократия замужних женщин, которые говорят, что все мужчины принадлежат одним им, по какой-то привилегии. — Как скучно! Что ж теперь будет? — Женщины берут все на себя. Они говорят, что лучше нас знают мужчин, и что их мужчины должны быть точно такие, какие бывают в романах. — Да, да! они говорят, что мужчины их будут отличные, а вдовы идут к ним в советницы и хотят их руководствовать. — Как весело быть женщиной! Они могут все делать! — Я со-

чиню себе мужчину тихонько! — А если увидят? — Кому увидеть? — Пойдемте, пойдемте!

И пошли.

— С чего начать? — С прически! — Какую дать ему прическу? — *À la corne d'abondance!** — Скверно! — Скверно! Гладкую! — Гладкую! — *A la corne d'abondance!* — *Fi!* — Непременно, *à la corne d'abondance!* Таков дух времени. Надобно во всем иметь в виду дух времени! — Начнемте! — Начнемте!

И начали.

Можете представить!

Во время этих беспорядков, заговорщицы, бывшие причиною всех несчастий, по недоверчивости к успеху затаенной фабрикации или испугавшись бедствия, причиненного своей легкомысленностью, вели тайные переговоры с своей волшебницею о возвращении городу прежних мужчин. Дело встречало сильные затруднения со стороны бургомистерши и нескольких других дам, которые никак не соглашались на отдачу им тех самых мужей, и вдовы, по усердию к пользам своего пола, ревностно отсоветывали эту меру, утверждая, что в прежних мужчинах были разные недостатки, несовершенства, неполноты, повреждения, требующие предварительной починки. Однако ж дело сладилось. Не знаю, каким образом, — только 29 ноября, о самой полуночи, мы почувствовали сильный удар в землю, которою были придавлены, и разом выскочили все наружу. Я очутился на той же кровати, с которой за два месяца с половиной провалился под землю.

Что мы делали под землею? Мы спали. Мы были заколдованы и находились все это время в странном, неразгаданном оцепенении.

Бургомистр сорвал с себя парик с отчаяния, увидев весь славный город Утрехт вверх ногами. Ноября 30, поутру, собрался в ратуше Большой Совет, и положено было произвести формальное следствие. Бургомистр был уверен, что это работа бельгийцев.

* В стиле рога изобилия (*фр.*).

В тот же день, следствие началось с торжественными обрядами; но к вечеру бургомистр внезапно закрыл комиссию. Оказалось, что его супруга и супруги его сочленов были главными зачинщицами всего беспорядка. С той минуты признали необходимым скорее замять дело, и городовое начальство приняло все нужные меры, чтобы известие об этой домашней революции не распространялось за черту города. С самых болтливых, в том числе и с меня, взяли подписки.

Нет надежды, чтобы это странное событие было когда-либо описано в утрехтских журналах, потому что жены тамошних журналистов были самые отчаянные мятежницы.

Библиография

Все включенные в книгу произведения публикуются по первоизданиям в новой орфографии. Пунктуация приближена к современным нормам.

К. Ф. Отрывок из дневника // Современник. 1839. Том XIII.

Емичев, А. И. Заклятый поцелуй // Телескоп. 1834. Ч. XXII, № 33.

Львов, В. В. Предание // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1837. № 10, 6 марта, за подписью «Кн. В. Л.....ъ».

А. К-ъ. Таинственный туалет: Повесть // Московский наблюдатель. 1835. Кн. 10.

Одоевский, В. Ф. Привидение // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1838. № 40, за подписью «Кн. В. О.» и с подзаг. «Из путевых записок». Публикуется по: Сочинения князя В. Ф. Одоевского. Часть третья. СПб., 1844.

— въ. Колдун: Повесть // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1837. № 3, 16 января; № 4, 23 января.

Булгарин, Ф. В. Кабалистик // Северная пчела, 1834, № 138 (21 июня), № 139 (22 июня).

Тихорский, Н. Я. Чернокнижник: Повесть // Сын Отечества и Северный архив. 1834. №№ 19-20.

[Аноним]. Таинственная перчатка // Телескоп. 1832. Ч. VIII, № 5.

Тимофеев, А. В. Невидимка // Сын Отечества и Северный архив. 1834. № 18, за подписью «Т-м-ф-ъ».

Тимофеев, А. В. Мой демон // Сын Отечества и Северный архив. 1834. № 23, за подписью «Т-м-ф-ъ».

Тимофеев, А. В. Утрехтские происшествия 1834 года // Библиотека для чтения. 1835. Том XII.

Оглавление

К. Ф. Отрывок из дневника	6
А. Емичев. Заклятый поцелуй	11
В. Львов. Предание	20
А. К-ъ. Таинственный туалет: Повесть	28
В. Одоевский. Привидение	44
- въ. Колдун: Повесть	57
Ф. Булгарин. Кабалистик	80
Н. Тихорский. Чернокнижник: Повесть	88
[Аноним] Таинственная перчатка: Сцена из светской жизни	109
А. Тимофеев. Невидимка	124
А. Тимофеев. Мой демон	132
А. Тимофеев. Утрехтские происшествия 1834 года	147
Б и б л и о г р а ф и я	167

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.